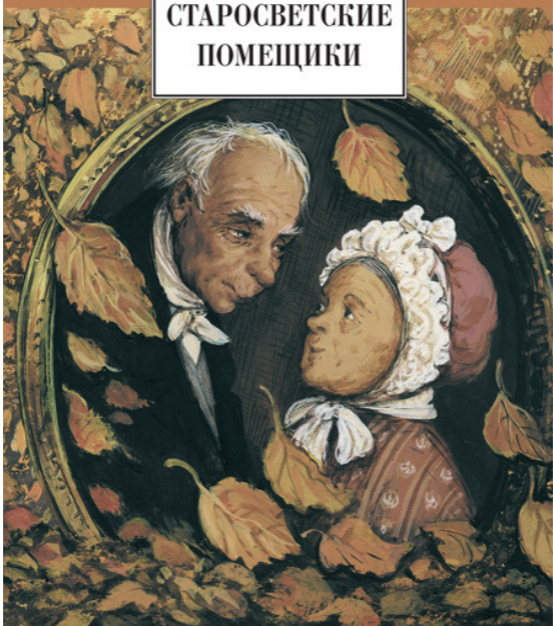


ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА



Н. В. Гоголь
**СТАРОСВЕТСКИЕ
ПОМЕЩИКИ**



Старосветские помещики: Повести / Вступ. ст. В. Гуминского; Коммент. В. Воропаева; Рис. А. Симанчука // Детская литература, Москва, 2003
ISBN: 5-08-004048-3
FB2: Roland "Roland", 11.08.2017, version 1.0
UUID: 41a77441-7445-11e7-8179-0cc47a520474
PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

Николай Васильевич Гоголь

Старосветские помещики
(сборник)
(Миргород)

(Школьная библиотека (Детская
литература))

В книгу вошли повести из цикла «Миргород»: «Старосветские помещики», «Вий», «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем».

Содержание

#1	0005
Гоголь и четыре урока «Миргорода»	0006
Миргород Повести, служащие продолжением «Вечеров на хуторе близ Диканьки»	0026
Старосветские помещики	0027
Вий	0077
Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем	0159



Н. Гоголь

1809—1852

Николай Васильевич Гоголь
Старосветские помещики
(Из цикла «Миргород»)

© Издательство «Детская литература».
© Оформление серии, 2003

© В. Гуминский. Вступительная статья,
2003

© В. Воропаев. Комментарии, 2003

© А. Симанчук. Иллюстрации, 2003

* * *

Гоголь и четыре урока «Миргорода»

Гоголевское творчество осознанно нравственно, и, однажды взяв на себя миссию учителя жизни, писатель остается верен ей до самого конца. Такая позиция постоянно подкрепляется углубленным самоанализом, когда значение собственной личности непрерывно поверяется пользой, которую она может принести родине, всему человечеству. «Еще... с самых лет почти непонимания, – пишет восемнадцатилетний Гоголь Петру Петровичу Косяровскому, – я пламенел неугасимую ревностью сделать жизнь свою нужною для блага государства... Тревожные мысли, что я не буду мочь, что мне преградят дорогу, что не дадут возможности принести ему малейшую пользу, бросали меня в глубокое уныние». И этот строгий суд, максимальная требовательность к себе закономерно приводят к желанию высказаться прямо от своего имени, непосредственно поделить духовным опытом, минуя любые промежуточные

формы, даже такие, как художественное творчество. Едва покинув малороссийские пенаты, с первых же писем из Петербурга Гоголь не перестает наставлять и любимую маменьку, и малолетних сестер, вникает во все хозяйственные нужды и семейные заботы. В 1840-е годы учительство станет главным содержанием жизни, и «Выбранные места из переписки с друзьями» возвестят об этом на всю Россию. Но стремление распространить семейный, дружеский круг на всех соотечественников обернется трагедией писателя. Хотя для него самого такой путь в художественном творчестве представлялся единственно верным: «...прочие все пути будут околесные и кривые, а не прямые и кратчайшие» (письмо Н. М. Языкову из Франкфурта от 26 декабря 1844 года). Поэтому любое произведение, по Гоголю, помимо своих образов, сюжета, коллизии, должно нести слово писателя о мире и человеке, обращенное к читателям. Есть такое авторское слово и в «Миргороде».

Но почему все-таки «Миргород»? Может быть, следует обратить внимание на столь

очевидное значение самого слова «Миргород»? Ведь названная именем такого города книга, кажется, должна нести на своих страницах полную меру всего того, что так прекрасно определено в словаре В. И. Даля: «Мир – отсутствие ссоры, вражды, несогласия, войны; лад, согласие, единодушие, приязнь, дружба, доброжелательство; тишина, покой, спокойствие».

Но нет, пожалуй, в творчестве Гоголя никакой другой книги, в которой было бы так много прямо противоположного. Не говоря уже про присутствие ссоры в самом заглавии повести о двух Иванах и про «Тараса Бульбу», который весь война, что такое «Вий», как не битва Хомы Брута с нечистой силой, сражение, завершившееся его гибелью. И только в «Старосветских помещиках» есть как будто и «тишина, покой, спокойствие», и «лад, согласие, единодушие». Есть и та из великих человеческих ценностей, которой не нашлось места в словарной справке, – любовь.

Именно утверждению непреходящего значения этой ценности и посвящена первая повесть в «Миргороде». Земная, обычная лю-

бовь, любовь-верность и преданность, которую питают друг к другу старосветские помещики и которая, в отличие от романтически возвышенной, экзальтированной страсти юноши из вставной новеллы, может выдержать любое испытание временем, – вот основная тема повести. Но не просто тема. Самоотверженная любовь и все производное от нее – чистосердечие, гостеприимство и т. п. – возвышает старосветских помещиков над их «низменной буколической жизнью»[1] и служит нравственным уроком, так же как вот уже на протяжении многих веков служит подобным уроком трогательная история Филемона и Баквиды[2], с которыми прямо сопоставляет своих героев повествователь. И ведь именно любовь Пульхерии[3] Ивановны и Афанасия Ивановича является необходимым условием существования самого «земного рая» их усадьбы: ее описание порой явно напоминает картины «земель блаженных» в древнерусской литературе и фольклоре, а там, как известно (сказания о земле «наго-мудрецов-брахманов», об «Опоньском царстве» и т. д.), даже почва была такой, что на

ней все произрастало само собой «во изобилии». После смерти старосветских помещиков все закономерно распадается, у «благословенной земли» появляется новый владелец – герой-непоседа, перекаати-поле, цену которому Гоголь вполне конкретно определяет его покупательскими способностями: «...не превышает всем оптом своим цены одного рубля».

Но не все так уж спокойно было и в «Старосветских помещиках». Были и несколько тревожные, такие неуместные в этих низеньких комнатках портреты убитого заговорщиками русского императора и фаворитки Людовика XIV, были и тревожащие Пульхерию Ивановну разговоры Афанасия Ивановича про пожар, про войну, про разбойников, и даже кошечку Пульхерии Ивановны дикие коты приманили, «как отряд солдат подманивает глупую крестьянку». Но самое поразительное все-таки в другом. После описания идиллической жизни старосветских помещиков повествователь собирается рассказать о «печальном событии, изменившем навсегда жизнь этого мирного уголка» – о смерти Пуль-

херии Ивановны и о «самом маловажном случае», от которого оно произошло, – историю с возвращением кошечки.

И вот по такому, казалось бы, малозначительному поводу – ибо что такое даже смерть Пульхерии Ивановны для судеб всего остального мира, исключая, конечно, Афанасия Ивановича, – в мерное и мирное повествование вдруг врывается бранный шум истории, полководцы разворачивают войска, между государствами начинаются битвы. И тем самым «старосветская» жизнь Пульхерии Ивановны и Афанасия Ивановича (и даже история с кошечкой – вестницей смерти) встает в один ряд с самой что ни на есть всемирной историей, ведь, «по странному устройству вещей, всегда ничтожные причины родили великие события и, наоборот, великие предприятия оканчивались ничтожными следствиями».

Не этим ли строкам наследует в русской литературе философия истории «Войны и мира» с ее пристальным вниманием к «ничтожным причинам великих событий», которые вихрем ворвались в «старосветскую» жизнь стольких русских семейств в 1812 году, но не

отменили, а, наоборот, возвысили ее нравственный смысл?

Знаменательно, что у Гоголя встречается (правда, с обратной Толстому оценкой) даже любимый автором «Войны и мира» образ битвы, поединка, где один из соперников вооружен шпагой и, «воодушевленный преданиями рыцарства», собирается воевать «по правилам искусства», а другой, противно всем правилам, хватается за дубину. В самом деле, словно уже прочитав толстовский эпос, писал Гоголь М. П. Погодину из Рима 1 декабря 1838 года: «Битву, как ты сам знаешь, нельзя вести тому, кто благородно вооружен одною только шпагой, защитницей чести, против тех, которые вооружены дубинами, дрекольем». (Письмо было впервые опубликовано в Сочинениях и письмах Н. Гоголя издания П. А. Кулиша. Спб., 1857, то есть как раз во время работы Толстого над «Войной и миром».)

Но вот сами примеры, которые должны подтвердить и развить мысль о взаимодействии «великого» и «ничтожного», возникшую по поводу истории смерти Пульхерии Ивановны: «Какой-нибудь завоеватель соби-

рает все силы своего государства, воюет несколько лет, полководцы его прославляются, и наконец все это оканчивается приобретением клочка земли, на котором негде посеять картофеля...» Такой пример не только «поднимает» значение истории Пульхерии Ивановны до событий мировой истории, но и вводит ее в контекст проблематики мировой литературы, так как явно перекликается с одним из эпизодов «Гамлета». Напомним, принц Датский встречает армию норвежцев, идущую в поход на Польшу, и на вопрос Гамлета полковник отвечает:

*О, говоря открыто,
Мы овладеть куском земли идем,
В котором польза вся – его лишь
имя.
Пяти б червонцев за наем я не дал
Земли сей...*

Эта встреча отзывается в монологе Гамлета (действие IV, явление 4) словами о принце-завоевателе:

*...Вдохновенный
Высокой жаждой чести, презирает*

*Он неизвестность счастья, отда-
ет
Все смертное, неверное на волю
Опасностям и смерти – все за
горсть песку!*

(Перевод М. Вронченко, 1828).

Но если Гамлет в этом споре «за землю... на коей места для могил их мало» видит упрек своей нерешительности, то Гоголь решает вопрос иначе. Ведь нравственный смысл битв и побед, смертей и поражений измеряется в «Тарасе Бульбе» ценностями много высшими, чем сама война, тем более война из-за честолюбия. «Не в силе Бог, но в правде». Эти слова древнерусского полководца-подвижника словно служат здесь исходным посылом оценки. И война может стать высоко-нравственной, но только тогда, когда она «дело общее», народное: «...Это целая нация, которой терпенье уже переполнилось, поднялась мстить за оскорбленные права свои, за униженную религию свою и обычай... за все, в чем считал себя оскорбленным угнетенный народ».

И рядом с этими ценностями есть и такая

любовь: любовь Андрия к прекрасной полячке. Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна беззаветно любили друг друга. И в их любви было немало того, что романтический Гамлет в своем монологе (действие I, явление 4) называл «чудовищем-привычкой». Вспомним, как восстал в своей рецензии на «Миргород» («Московский наблюдатель», 1835, № 2) против «убийственной мысли о привычке» в «Старосветских помещиках» С. П. Шевырев. Любовь старосветских помещиков нисколько не теряла в нравственном смысле и оттого, что была неотделима от образов «сна» и «еды» – тех самых образов, которые, по словам того же Гамлета из монолога про принца-честолюбца (действие IV, явление 4), характеризуют человека, живущего «растительной жизнью», человека-«животного».

Иначе любят Андрий и полячка: возвышенно, романтично. Но ответ Гоголя ясен и однозначен: любовь Андрия к прекрасной полячке безнравственна, ибо нельзя даже за всепоглощающее чувство отдать «отца, брата, мать, отчизну, все, что ни есть на земле». Таков второй нравственный урок «Миргорода».

Третий урок – в «Вии». Это повесть об испытании веры, духовной стойкости человека перед лицом всех враждебных, темных сил мира. Хома без особого труда справляется с ведьмой, когда он с нею один на один, но стоит той позвать себе на помощь «несметную силу чудовищ» и самого Вия, как Хома забывает все свои «заклятья и молитвы», доставшиеся ему от «одного монаха, видевшего всю жизнь свою ведьм и нечистых духов», и погибает. Погибает, несмотря на испытанность (в том же «Миргороде») того казацкого «оружия», которым он запасается перед последним походом в церковь: полведра сивухи, танец и напоминание о том, как казак не должен бояться «ничего на свете». И не так уж неубедительно заключение философа Горобця по поводу гибели «знатного человека» Хома: «А я знаю, почему пропал он: оттого, что побоялся. А если бы не боялся, то бы ведьма ничего не могла с ним сделать». (Кстати сказать, мотив страха как причины гибели Хома был гораздо явственнее представлен в черновой редакции: «...тайный голос говорил ему: «Эй, не гляди!»...По непостижимому, может

быть происшедшему из самого страха, любопытству глаз его нечаянно отворился...».)

Мысль о бессилии любой нечисти перед лицом твердого духом и в вере человека – одна из любимых в древнерусской литературе. В «Повести временных лет» сказано о «бесовском наущении»: «...бесы ведь не знают мыслей человека, а только влагают помыслы в человека, тайны его не зная. Бог один знает помышления человеческие. Бесы же не знают ничего, ибо немощны они и скверны видом».

А вот отрывок из письма Гоголя С. Т. Аксакову от 16 мая (н. ст.) 1844 года, где речь идет о борьбе с тем же «общим нашим приятелем, всем известным, именно – чертом». И тот простой метод, которым Гоголь советует здесь воспользоваться, кажется заимствованным у Горобця, как известно, рекомендовавшего, «перекрестившись, плюнуть на самый хвост» ведьме, и тогда «ничего не будет». «Вы эту скотину бейте по морде, – пишет Гоголь, – и не смущайтесь ничем. Он – точно мелкий чиновник, забравшийся в город будто бы на следствие (здесь Гоголь явно начинает вольно пересказывать сюжетную ситуацию своего

«Ревизора». – В. Г.). Пыль запустит всем, распечет, раскричится. Стоит только немножко струсить и податься назад – тут-то он и пойдет храбриться. А как только наступишь на него, он и хвост подожмет. Мы сами делаем из него великана; а в самом деле он *черт знает что*. Пословица не бывает даром, а пословица говорит: *Хвалился черт всем миром овладеть, а Бог ему и над свиньей не дал власти*».

Но вернемся к примерам о «великом» и «ничтожном» из «Старосветских помещиков». Продолжим прерванную цитату: «...а иногда, напротив, два какие-нибудь колбасника двух городов подерутся между собою за вздор, и ссора объемлет наконец города, потом веси и деревни, а там и целое государство». Не правда ли, так и кажется, что из-за этих вроде бы «немецких» («колбасники») строк вдруг появятся два совершенно «миргородских» героя, у одного из которых голова напоминает редьку хвостом вверх, у другого – хвостом вниз. Конечно, и Иван Иванович, и Иван Никифорович вроде бы никакого отношения к войнам не имеют, да и последствия

их ссоры «за вздор» как будто не столь значительны. Но давно уже замечено, что в «Повести о том, как поссорился...» немало отзвуков высокой военной патетики «Тараса Бульбы», правда проявляющейся здесь всего лишь на низменном, «предметном» уровне.

Андрей Белый писал, например, о «старинном седле с оборванными стремянами, с истертыми кожаными чехлами для пистолетов...», которое «тощая баба», «кряхтя», вытащила на двор Ивана Никифоровича проветриться в числе прочего «залежалого платья»: «Это – седло исторического Тараса, как знать, не прадеда ли Довгочхуна». Да и шаровары Ивана Никифоровича, что «заняли собой половину двора», явно напоминают казацкие шаровары «шириною в Черное море» из «Тараса Бульбы». Что же говорить тогда про саму причину последовавшего раздора – ружье, пусть и со сломанным замком. Словом, как писал тот же Андрей Белый, «в «Миргороде» сопоставлены рядом как конец напевного «вчера» с началом непевучего «сегодня» Тарас с Довгочхуном. Довгочхун выглядит слезшим с седла и заленившимся в своем хуторке

Тарасом...»).

Исследователь совсем не случайно обмолвился про «напевное «вчера»: хорошо известно, что, широко пользуясь в работе над «Тарасом» различными историческими источниками, Гоголь перед всеми иными отдавал предпочтение малороссийским песням – «живой, говорящей, звучащей в прошедшем летописи». И добавлял в статье «О малороссийских песнях» (1834): «Историк не должен искать в них показания дня и числа битвы или точного объяснения места, верной реляции...» Поэтому в своем эпосе о легендарном, героическом прошлом – повести «Тарас Бульба» – Гоголь нередко сознательно отступает от хронологии: он относит ее действие и к XV и к XVI веку, а имена, в ней упомянутые, относятся к XVII веку (Николай Потоцкий, Острица), как и другие детали. «Итак, три века – читатель может выбирать любой», – по справедливому замечанию Г. А. Гуковского. Но странно другое: в повести о двух Иванах писатель не только следует самому пунктуальному историзму при «объяснении места, реляции» ссоры, но и приводит точную ее дату – «показа-

ние дня и числа». Эта дата – «сего 1810 года июля 7 дня» – отмечена в прошении Ивана Никифоровича. Настоящая дата находится в разительном противоречии со словами из авторского предисловия к «Повести о том, как поссорился...»: «Долгом почитаю предуведомить, что происшествие, описанное в этой повести, относится к очень давнему времени». Но это еще не все: получив точную дату «битвы», поневоле начинаешь отсчитывать время действия повести от нее, и тогда получается, что неудавшаяся попытка примирения Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича на ассамблее у городничего приходится не на какой-нибудь, а на, пожалуй, самый памятный год в истории России XIX века – 1812-й. Сам же городничий, по существу, и указывает эту дату: «Вот уже, слава Богу, есть два года, как поссорились они между собою...» Отметим, кстати сказать, что городничий, как известно, был участником «кампании 1807 года» (и даже был во время ее ранен), так что, хотя имя французского императора ни разу в повести о двух Иванах не встречается (Бонапарт упоминается только в «Старосветских помещиках»),

Оно неназванным все-таки присутствует в ней.

Мы, конечно, далеки от мысли видеть в повести о двух Иванах какую-то аллегорию к истории ссор и примирений, а затем войны между Россией и Францией. Но, попав в один хронологический ряд с нею, история ссоры Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича приобретает какой-то особый, дополнительный смысл. «Великие события» проносятся над миром, забывая о своих «ничтожных» причинах. Но все в жизни взаимосвязано; и история глупой ссоры, «забывшая» про одновременную с нею великую народную войну, словно еще раз указывает: в судьбе каждого, самого «маленького» человека нет ничего маловажного, такого, что по своему нравственному смыслу не может сравниться с любым великим событием.

В «Киево-Печерском патерике» есть рассказ «О двух братьях (имеются в виду не кровные братья, но «братья по духу». – В. Г.), о Тите-попе и о Евагрии-дьяконе, враждовавших между собой», порой удивительно напоминающий гоголевскую повесть. Тит и Евагрий

также прежде «имели друг к другу любовь великую и нелицемерную, так что все дивились единокористию их и безмерной любви». Но вот они поссорились и возненавидели друг друга. Умиравший Тит решился просить у бывшего друга прощения за то, что «гневался на него». Тот отвечал «жестокими словами и проклятиями». Тогда «ангел немилостивый» ударил «пламенным копьем» Евагрия, и он пал мертвым, а больному Титу подал руку и исцелил его. Древний повествователь заключает цитатами о том, что «всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду» и «если кому случится во вражде умереть, то неумолимый суд ждет таких».

Последняя сцена «Повести о том, как поссорился...» происходит, как известно, в церкви во время праздничной службы. Гоголь здесь ничего прямо не говорит о будущем суде над постаревшими, но не раскаявшимися в своей бессмысленной вражде Иваном Ивановичем и Иваном Никифоровичем. Однако уже само место последней встречи напоминает об этом.

Таковы четыре нравственных урока «Мир-

города». Ими, конечно, далеко не исчерпывается содержание гоголевских повестей, герои которых по воле автора проходят на страницах книги через испытания основных человеческих ценностей: любви, верности, веры, дружбы – словом, «всего, что ни есть на земле», по словам одного из них. Не все выдерживают эти испытания. Если в первой половине книги таких большинство, то вторая – рассказ о поражениях человеческого духа. И долго еще придется ждать, прежде чем произнесенное «голосом тоски» в конце «Миргорода»: «Скучно на этом свете, господа!» и отозвавшееся в пушкинском (по поводу первых глав «Мертвых душ»): «Боже, как грустна наша Россия!», обернется стремлением автора показать возрождение человека к «высокому и прекрасному»: «...Бывает время, когда нельзя иначе устремить общество или даже все поколение к прекрасному, пока не покажешь всю глубину его настоящей мерзости; бывает время, что даже вовсе не следует говорить о высоком и прекрасном, не показавши тут же ясно как день путей и дорог к нему для всякого» («Четыре письма к разным лицам по пово-

ду «Мертвых душ»).

Виктор Гуминский

Миргород **Повести, служащие** **продолжением «Вечеров на** **хуторе близ Диканьки»**

*Миргород нарочито невеликий при реке Хороле город. Имеет 1 канатную фабрику, 1 кирпичный завод, 4 водяных и 45 ветряных мельниц.
География Зябловского*

*Хотя в Миргороде пекутся бублики из черного теста, но довольно вкусны.
Из записок одного путешественника*

Старосветские помещики[4]



Я очень люблю скромную жизнь тех уединенных владельцев отдаленных деревень, которых в Малороссии обыкновенно называют старосветскими, которые, как дряхлые живописные домики, хороши своею пестротой и совершенною противоположностью с новым гладеньким строением, которого стен не промыл еще дождь, крыши не покрыла зеленая плесень и лишенное щекатурки крыльцо не выказывает своих красных кирпичей. Я иногда люблю сойти на минуту в сферу этой необыкновенно уединенной жизни, где ни одно желание не перелетает за частокол, окружающий небольшой дворик, за плетень сада, наполненного яблонями и сливами, за

деревенские избы, его окружающие, пошатнувшиеся на сторону, осененные вербами, бузиною и грушами. Жизнь их скромных владельцев так тиха, так тиха, что на минуту забываешься и думаешь, что страсти, желания и беспокойные порождения злого духа, возмущающие мир, вовсе не существуют и ты их видел только в блестящем, сверкающем сновидении. Я отсюда вижу низенький домик с галереею из маленьких почернелых деревянных столбиков, идущею вокруг всего дома, чтобы можно было во время грома и града затворить ставни окон, не замочась дождем. За ним душистая черемуха, целые ряды низеньких фруктовых деревьев, потопленных багрянцем вишен и яхонтовым морем слив[5], покрытых свинцовым матом; развесистый клен, в тени которого разостлан для отдыха ковер; перед домом просторный двор с низенькою свежею травкою, с протоптанною дорожкой от амбара до кухни и от кухни до барских покоев; длинношейный гусь, пьющий воду с молодыми и нежными, как пух, гусятами; частокол, обвешанный связками сушеных груш и яблок и проветривающимся ков-

рами; воз с дынями, стоящий возле амбара; отпряженный вол, лениво лежащий возле него, – все это для меня имеет неизъяснимую прелесть, может быть, оттого, что я уже не вижу их и что нам мило все то, с чем мы в разлуке. Как бы то ни было, но даже тогда, когда бричка моя подъезжала к крыльцу этого домика, душа принимала удивительно приятное и спокойное состояние; лошади весело подкатывали под крыльцо, кучер преспокойно слезал с козел и набивал трубку, как будто бы он приезжал в собственный дом свой; самый лай, который поднимали флегматические[6] барбосы, бровки и жучки, был приятен моим ушам. Но более всего мне нравились самые владельцы этих скромных уголков, старички, старушки, заботливо выходявшие навстречу. Их лица мне представляются и теперь иногда в шуме и толпе среди модных фраков, и тогда вдруг на меня находит полусон и мерещится былое. На лицах у них всегда написана такая доброта, такое радушие и чистосердечие, что невольно отказываешься, хотя, по крайней мере, на короткое время, от всех дерзких мечтаний и незаметно

переходишь всеми чувствами в низменную
буколическую жизнь.

Я до сих пор не могу позабыть двух старичков прошедшего века, которых, увы! теперь уже нет, но душа моя полна еще до сих пор жалости, и чувства мои странно сжимаются, когда вообразу себе, что приеду со временем опять на их прежнее, ныне опустелое жилище и увижу кучу развалившихся хат, заглохший пруд, заросший ров на том месте, где стоял низенький домик, – и ничего более. Грустно! мне заранее грустно! Но обратимся к рассказу.

Афанасий Иванович Товстогуб и жена его Пульхерия Ивановна Товстогубиха, по выражению окружающих мужиков, были те старики, о которых я начал рассказывать. Если бы я был живописец и хотел изобразить на полотне Филемона и Бавкиду, я бы никогда не избрал другого оригинала, кроме их. Афанасию Ивановичу было шестьдесят лет, Пульхерии Ивановне пятьдесят пять. Афанасий Иванович был высокого роста, ходил всегда в бараньем тулупчике, покрытом камлотом[7], сидел согнувшись и всегда почти улыбался, хо-

тя бы рассказывал или просто слушал. Пульхерия Ивановна была несколько сурьезна, почти никогда не смеялась; но на лице и в глазах ее было написано столько доброты, столько готовности угостить вас всем, что было у них лучшего, что вы, верно, нашли бы улыбку уже чересчур приторною для ее доброго лица. Легкие морщины на их лицах были расположены с такою приятностию, что художник, верно бы, украл их. По ним можно было, казалось, читать всю жизнь их, ясную, спокойную жизнь, которую вели старые национальные, простосердечные и вместе богатые фамилии, всегда составляющие противоположность тем низким малороссиянам, которые выдираются из дегтярей[8], торгашей, наполняют, как саранча, палаты[9] и присутственные места, дерут последнюю копейку с своих же земляков, наводняют Петербург ябедниками[10], наживают наконец капитал и торжественно прибавляют к фамилии своей, оканчивающейся на о, слог въ. Нет, они не были похожи на эти презренные и жалкие творения, так же как и все малороссийские старинные и коренные фамилии.

Нельзя было смотреть без участия на их взаимную любовь. Они никогда не говорили друг другу *ты*, но всегда *вы*; вы, Афанасий Иванович; вы, Пульхерия Ивановна. «Это вы продавили стул, Афанасий Иванович?» – «Ничего, не сердитесь, Пульхерия Ивановна: это я». Они никогда не имели детей, и оттого вся привязанность их сосредоточивалась на них же самих. Когда-то, в молодости, Афанасий Иванович служил в компанейцах[11], был после секунд-майором[12], но это уже было очень давно, уже прошло, уже сам Афанасий Иванович почти никогда не вспоминал об этом. Афанасий Иванович женился тридцати лет, когда был молодцом и носил шитый камзол[13]; он даже увез довольно ловко Пульхерию Ивановну[14], которую родственники не хотели отдать за него; но и об этом уже он очень мало помнил, по крайней мере, никогда не говорил.

Все эти давние, необыкновенные происшествия заменились спокойною и уединенною жизнью, теми дремлющими и вместе какими-то гармоническими грезами, которые ощущаете вы, сидя на деревенском балконе,

обращенном в сад, когда прекрасный дождь роскошно шумит, хлопая по древесным листьям, стекая журчащими ручьями и наговаривая дрему на ваши члены, а между тем радуга крадется из-за деревьев и в виде полуразрушенного свода светит матовыми семью цветами на небе. Или когда укачивает вас коляска, ныряющая между зелеными кустарниками, а степной перепел гремит и душистая трава вместе с хлебными колосьями и полевыми цветами лезет в дверцы коляски, приятно ударяя вас по рукам и лицу.

Он всегда слушал с приятною улыбкою гостей, приехавших к нему, иногда и сам говорил, но больше расспрашивал. Он не принадлежал к числу тех стариков, которые надоедают вечными похвалами старому времени или порицаниями нового. Он, напротив, расспрашивая вас, показывал большое любопытство и участие к обстоятельствам вашей собственной жизни, удачам и неудачам, которыми обыкновенно интересуются все добрые старики, хотя оно несколько похоже на любопытство ребенка, который в то время, когда говорит с вами, рассматривает печатку ваших ча-

сов[15]. Тогда лицо его, можно сказать, дышало добротой.

Комнаты домика, в котором жили наши старички, были маленькие, низенькие, какие обыкновенно встречаются у старосветских людей. В каждой комнате была огромная печь, занимавшая почти третью часть ее. Комнатки эти были ужасно теплы, потому что и Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна очень любили теплоту. Топки их были все проведены в сени, всегда почти до самого потолка наполненные соломою, которую обыкновенно употребляют в Малороссии вместо дров. Треск этой горящей соломы и освещение делают сени чрезвычайно приятными в зимний вечер, когда пылкая молодежь, прозябнувши от преследования за какой-нибудь смуглянкой, вбегает в них, похлопывая в ладоши. Стены комнат убраны были несколькими картинами и картинками в старинных узеньких рамах. Я уверен, что сами хозяева давно позабыли их содержание, и если бы некоторые из них были унесены, то они бы, верно, этого не заметили. Два портрета было больших, писанных масляными красками.

Один представлял какого-то архиерея[16], другой Петра III[17]. Из узеньких рам глядела герцогиня Лавальер[18], запачканная мухами. Вокруг окон и над дверями находилось множество небольших картинок, которые как-то привыкаешь почитать за пятна на стене и потому их вовсе не рассматриваешь. Пол почти во всех комнатах был глиняный, но так чисто вымазанный и содержащийся с такою опрятностью, с какою, верно, не содержится ни один паркет в богатом доме, лениво подметаемый невыспавшимся господином в либрее.

Комната Пульхерии Ивановны была вся уставлена сундуками, ящиками, ящичками и сундучочками. Множество узелков и мешков с семенами, цветочными, огородными, арбузными, висело по стенам. Множество клубков с разноцветною шерстью, лоскутков старинных платьев, шитых за столетие, были уложены по углам в сундучках и между сундучками. Пульхерия Ивановна была большая хозяйка и собирала все, хотя иногда сама не знала, на что оно потом употребится.

Но самое замечательное в доме – были по-

ющие двери. Как только наставало утро, пение дверей раздавалось по всему дому. Я не могу сказать, отчего они пели: перержавевшие ли петли были тому виною или сам механик, делавший их, скрыл в них какой-нибудь секрет, – но замечательно то, что каждая дверь имела свой особенный голос: дверь, ведущая в спальню, пела самым тоненьким дискантом; дверь в столовую хрипела басом; но та, которая была в сенях, издавала какой-то странный дребезжащий и вместе стонущий звук, так что, вслушиваясь в него, очень ясно наконец слышалось: «батюшки, я зябну!» Я знаю, что многим очень не нравится этот звук; но я его очень люблю, и если мне случится иногда здесь услышать скрип дверей, тогда мне вдруг так и запахнет деревнею, низенькой комнаткой, озаренной свечкой в старинном подсвечнике, ужином, уже стоящим на столе, майскою темною ночью, глядящею из сада, сквозь растворенное окно, на стол, уставленный приборами, соловьем, обдающим сад, дом и дальнюю реку своими раскатами, страхом и шорохом ветвей... и Боже, какая длинная навеваётся мне тогда вереница

воспоминаний!

Стулья в комнате были деревянные, массивные, какими обыкновенно отличается старина; они были все с высокими выточенными спинками, в натуральном виде, без всякого лака и краски; они не были даже обиты материею и были несколько похожи на те стулья, на которые и доньше садятся архиереи. Треугольные столики по углам, четырехугольные перед диваном и зеркалом в тоненьких золотых рамах, выточенных листьями, которых мухи усеяли черными точками, ковер перед диваном с птицами, похожими на цветы, и цветами, похожими на птиц, — вот все почти убранство невзыскательного домика, где жили мои старики.

Девичья была набита молодыми и немолдыми девушками в полосатых исподницах [19], которым иногда Пульхерия Ивановна давала шить какие-нибудь безделушки и заставляла чистить ягоды, но которые большею частью бегали на кухню и спали. Пульхерия Ивановна почитала необходимою держать их в доме и строго смотрела за их нравственностью. Но, к чрезвычайному ее удивле-

нию, не проходило нескольких месяцев, чтобы у которой-нибудь из ее девушек стан не делался гораздо полнее обыкновенного; тем более это казалось удивительно, что в доме почти никого не было из холостых людей, исключая разве только комнатного мальчика, который ходил в сером полуфраке, с босыми ногами, и если не ел, то уж верно спал. Пульхерия Ивановна обыкновенно бранила виновную и наказывала строго, чтобы вперед этого не было.

На стеклах окон звенело страшное множество мух, которых всех покрывал толстый басшмеля, иногда сопровождаемый пронзительными визжаниями ос; но как только подавали свечи, вся эта ватага отправлялась на ночлег и покрывала черною тучею весь потолок.

Афанасий Иванович очень мало занимался хозяйством, хотя, впрочем, ездил иногда к косарям и жнецам и смотрел довольно пристально на их работу; все бремя правления лежало на Пульхерии Ивановне. Хозяйство Пульхерии Ивановны состояло в беспрестанном отпирании и запираании кладовой, в солении, сушении, варении бесчисленного мно-

жества фруктов и растений. Ее дом был совершенно похож на химическую лабораторию. Под яблонею вечно был разложен огонь, и никогда почти не снимался с железного треножника котел или медный таз с вареньем, желе, пастилою, деланными на меду, на сахаре и не помню еще на чем. Под другим деревом кучер вечно перегонял в медном лембике[20] водку на персиковые листья, на черемуховый цвет, на золототысячник, на вишневые косточки, и к концу этого процесса совершенно не был в состоянии поворотить языком, болтал такой вздор, что Пульхерия Ивановна ничего не могла понять, и отправлялся на кухню спать. Все этой дряни наваривалось, насоливалось, засушивалось такое множество, что, вероятно, она потопила бы наконец весь двор, потому что Пульхерия Ивановна всегда сверх расчисленного на потребление любила готовить еще на запас, если бы большая половина этого не съедалась дворовыми девками, которые, забираясь в кладовую, так ужасно там объедались, что целый день стонали и жаловались на животы свои.

В хлебопашество и прочие хозяйственные



статьи вне двора Пульхерия Ивановна мало имела возможности входить. Приказчик, соединившись с войтом[21], обкрадывали немилосердным образом. Они завели обыкновение входить в господские леса, как в свои собственные, наделявали множество саней и продавали их на ближней ярмарке; кроме того, все толстые дубы они продавали на сруб для мельниц соседним козакам. Один только

раз Пульхерия Ивановна пожелала обревизировать свои леса. Для этого были запряжены дрожки с огромными кожаными фартуками, от которых, как только кучер встряхивал вожжами и лошади, служившие еще в милиции[22], трогались с своего места, воздух наполнялся странными звуками, так что вдруг были слышны и флейта, и бубны, и барабан; каждый гвоздик и железная скобка звенели до того, что возле самых мельниц было слышно, как пани выезжала со двора, хотя это расстояние было не менее двух верст. Пульхерия Ивановна не могла не заметить страшного опустошения в лесу и потери тех дубов, которые она еще в детстве знавала столетними.

– Отчего это у тебя, Ничипор[23], – сказала она, обратясь к своему приказчику, тут же находившемуся, – дубки сделались так редкими? Гляди, чтобы у тебя волосы на голове не стали редки.

– Отчего редки? – говаривал обыкновенно приказчик, – пропали! Так-таки совсем пропали: и громом побило, и черви проточили, – пропали, пани, пропали.

Пульхерия Ивановна совершенно удовле-

творялась этим ответом и, приехавши домой, давала повеление удвоить только стражу в саду около шпанских вишен и больших зимних дуль[24].

Эти достойные правители, приказчик и войт, нашли вовсе излишним привозить всю муку в барские амбары, а что с бар будет довольно и половины; наконец, и эту половину привозили они заплесневшую или подмоченную, которая была обракована на ярмарке. Но сколько ни обкрадывали приказчик и войт, как ни ужасно жрали все в дворе, начиная от ключницы до свиней, которые истребляли страшное множество слив и яблок и часто собственными мордами толкали дерево, чтобы стряхнуть с него целый дождь фруктов, сколько ни клевали их воробьи и вороны, сколько вся дворня ни носила гостинцев своим кумовьям в другие деревни и даже таскала из амбаров старые полотна и пряжу, что все обращалось ко всемирному источнику, то есть к шинку[25], сколько ни крали гости, флегматические кучера и лакеи, – но благоденственная земля производила всего в таком множестве, Афанасию Ивановичу и Пульхе-

рии Ивановне так мало было нужно, что все эти страшные хищения казались вовсе незаметными в их хозяйстве.



Оба старичка, по старинному обычаю старосветских помещиков очень любили покушать. Как только занималась заря (они всегда вставали рано) и как только двери заводили свой разноголосый концерт, они уже сидели за столиком и пили кофе. Напившись кофею, Афанасий Иванович выходил в сени и, стряхнув платком, говорил: «Киш, киш! пошли, гуси, с крыльца!» На дворе ему обыкновенно

попадался приказчик. Он, по обыкновению, вступал с ним в разговор, расспрашивал о работах с величайшею подробностью и такие сообщал ему замечания и приказания, которые удивили бы всякого необыкновенным познанием хозяйства, и какой-нибудь новичок не осмелился бы и подумать, чтобы можно было украсть у такого зоркого хозяина. Но приказчик его был обстрелянная птица: он знал, как нужно отвечать, а еще более, как нужно хозяйничать.

После этого Афанасий Иванович возвратился в покои и говорил, приблизившись к Пульхерии Ивановне:

– А что, Пульхерия Ивановна, может быть, пора закусить чего-нибудь?

– Чего же бы теперь, Афанасий Иванович, закусить? разве коржиков с салом, или пирожков с маком, или, может быть, рыжиков соленых?

– Пожалуй, хоть и рыжиков или пирожков, – отвечал Афанасий Иванович, и на столе вдруг являлась скатерть с пирожками и рыжиками.

За час до обеда Афанасий Иванович заку-

шивал снова, выпивал старинную серебряную чарку водки, заедал грибами, разными сушеными рыбками и прочим. Обедать сядились в двенадцать часов. Кроме блюд и соусников, на столе стояло множество горшочков с замазанными крышками, чтобы не могло выдохнуться какое-нибудь аппетитное изделие старинной вкусной кухни. За обедом обыкновенно шел разговор о предметах, самых близких к обеду.

– Мне кажется, как будто эта каша, – говорил обыкновенно Афанасий Иванович, – немного пригорела; вам этого не кажется, Пульхерия Ивановна?

– Нет, Афанасий Иванович; вы положите побольше масла, тогда она не будет казаться пригорелою, или вот возьмите этого соуса с грибами и подлейте к ней.

– Пожалуй, – говорил Афанасий Иванович, подставляя свою тарелку, – попробуем, как оно будет.

После обеда Афанасий Иванович шел отдохнуть один часик, после чего Пульхерия Ивановна приносила разрезанный арбуз и говорила:

– Вот попробуйте, Афанасий Иванович, какой хороший арбуз.

– Да вы не верьте, Пульхерия Ивановна, что он красный в середине, – говорил Афанасий Иванович, принимая порядочный ломоть, – бывает, что и красный, да нехороший.

Но арбуз немедленно исчезал. После этого Афанасий Иванович съедал еще несколько груш и отправлялся погулять по саду вместе с Пульхерией Ивановной. Пришедши домой, Пульхерия Ивановна отправлялась по своим делам, а он садился под навесом, обращенным к двору, и глядел, как кладовая беспрестанно показывала и закрывала свою внутренность и девки, толкая одна другую, то вносили, то выносили кучу всякого дрязгу в деревянных ящиках, решетках, ночевках[26] и в прочих фруктохранилищах. Немного погодя он посылал за Пульхерией Ивановной или сам отправлялся к ней и говорил:

– Чего бы такого поесть мне, Пульхерия Ивановна?

– Чего же бы такого? – говорила Пульхерия Ивановна, – разве я пойду скажу, чтобы вам принесли вареников с ягодами, которых при-

казала я нарочно для вас оставить?

– И то добре, – отвечал Афанасий Иванович.

– Или, может быть, вы съели бы киселику?

– И то хорошо, – отвечал Афанасий Иванович. После чего все это немедленно было приносимо и, как водится, съедается.

Перед ужином Афанасий Иванович еще кое-чего закушивал. В половине десятого сядились ужинать. После ужина тотчас отправлялись опять спать, и всеобщая тишина водворялась в этом деятельном и вместе спокойном уголке. Комната, в которой спали Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна, была так жарка, что редкий был бы в состоянии остаться в ней несколько часов. Но Афанасий Иванович еще сверх того, чтобы было теплее, спал на лежанке, хотя сильный жар часто заставлял его несколько раз вставать среди ночи и прохаживаться по комнате. Иногда Афанасий Иванович, ходя по комнате, стонал. Тогда Пульхерия Ивановна спрашивала:

– Чего вы стонете, Афанасий Иванович?

– Бог его знает, Пульхерия Ивановна, так,

как будто немного живот болит, – говорил Афанасий Иванович.

– А не лучше ли вам чего-нибудь съесть, Афанасий Иванович?

– Не знаю, будет ли оно хорошо, Пульхерия Ивановна! Впрочем, чего ж бы такого съесть?

– Кислого молочка или жиденького узвару с сушеными грушами.

– Пожалуй, разве так только, попробовать, – говорил Афанасий Иванович.

Сонная девка отправлялась рыться по шкапам, и Афанасий Иванович съедал тарелочку; после чего он обыкновенно говорил:

– Теперь так как будто сделалось легче.

Иногда, если было ясное время и в комнатах довольно тепло натоплено, Афанасий Иванович, развеселившись, любил пошутить над Пульхериею Ивановною и поговорить о чем-нибудь постороннем.

– А что, Пульхерия Ивановна, – говорил он, – если бы вдруг загорелся дом наш, куда бы мы делись?

– Вот это Боже сохрани! – говорила Пульхерия Ивановна, крестясь.

– Ну, да положим, что дом наш сторел, куда

бы мы перешли тогда?

– Бог знает что вы говорите, Афанасий Иванович! как можно, чтобы дом мог сгореть: Бог этого не попустит.

– Ну, а если бы сгорел?

– Ну, тогда бы мы перешли в кухню. Вы бы заняли на время ту комнатку, которую занимает ключница.

– А если бы и кухня сгорела?

– Вот еще! Бог сохранит от такого попущения, чтобы вдруг и дом и кухня сгорели! Ну, тогда в кладовую, покамест выстроился бы новый дом.

– А если бы и кладовая сгорела?

– Бог знает что вы говорите! я и слушать вас не хочу! Грех это говорить, и Бог наказывает за такие речи.

Но Афанасий Иванович, довольный тем, что подшутил над Пульхериею Ивановною, улыбался, сидя на своем стуле.

Но интереснее всего казались для меня старички в то время, когда бывали у них гости. Тогда все в их доме принимало другой вид. Эти добрые люди, можно сказать, жили для гостей. Все, что у них ни было лучшего,

все это выносилось. Они наперерыв старались угостить вас всем, что только производило их хозяйство. Но более всего приятно мне было то, что во всей их услужливости не было никакой приторности. Это радушие и готовность так кротко выражались на их лицах, так шли к ним, что поневоле соглашался на их просьбы. Они были следствием чистой, ясной простоты их добрых, бесхитростных душ. Это радушие вовсе не то, с каким угощает вас чиновник казенной палаты, вышедший в люди вашими стараниями, называющий вас благодетелем и ползающий у ног ваших. Гость никаким образом не был отпущен того же дня: он должен был непременно переночевать.

– Как можно такую позднюю порою отправляться в такую дальнюю дорогу! – всегда говорила Пульхерия Ивановна (гость обыкновенно жил в трех или в четырех верстах от них).

– Конечно, – говорил Афанасий Иванович, – неравно всякого случая: нападут разбойники или другой недобрый человек.

– Пусть Бог милует от разбойников! – говорила Пульхерия Ивановна. – И к чему расска-

зывать эдакое на ночь. Разбойники не разбойники, а время темное, не годится совсем ехать. Да и ваш кучер, я знаю вашего кучера, он такой тендитный[27] да маленький, его всякая кобыла побьет; да притом теперь он уже, верно, наклюкался и спит где-нибудь.

И гость должен был непременно остаться; но, впрочем, вечер в низенькой теплой комнате, радушный, греющий и усыпляющий рассказ, несущийся пар от поданного на стол кушанья, всегда питательного и мастерски изготовленного, бывает для него наградою. Я вижу как теперь, как Афанасий Иванович, согнувшись, сидит на стуле с всегдашнею своею улыбкой и слушает со вниманием и даже наслаждением гостя! Часто речь заходила и об политике. Гость, тоже весьма редко выезжавший из своей деревни, часто с значительным видом и таинственным выражением лица выводил свои догадки и рассказывал, что француз тайно согласился с англичанином выпустить опять на Россию Бонапарта[28], или просто рассказывал о предстоящей войне, и тогда Афанасий Иванович часто говорил, как будто не глядя на Пульхерию Ива-

новну:

– Я сам думаю пойти на войну; почему ж я не могу идти на войну?

– Вот уже и пошел! – прерывала Пульхерия Ивановна. – Вы не верьте ему, – говорила она, обращаясь к гостю. – Где уже ему, старому, идти на войну! Его первый солдат и застрелит! Ей-богу, застрелит! Вот так-таки прицелится и застрелит.

– Что ж, – говорил Афанасий Иванович, – и я его застрелю.

– Вот слушайте только, что он говорит! – подхватывала Пульхерия Ивановна, – куда ему идти на войну! И пистолы[29] его давно уже заржавели и лежат в коморе. Если б вы их видели: там такие, что, прежде еще нежели выстрелят, разорвет их порохом. И руки себе поотобьет, и лицо искалечит, и навеки несчастным останется!

– Что ж, – говорил Афанасий Иванович, – я куплю себе новое вооружение. Я возьму саблю или козацкую пику.

– Это все выдумки. Так вот вдруг придет в голову, и начнет рассказывать, – подхватывала Пульхерия Ивановна с досадою. – Я и знаю,

что он шутит, а все-таки неприятно слушать. Вот эдакое он всегда говорит, иной раз слушаешь, слушаешь, да и страшно станет.

Но Афанасий Иванович, довольный тем, что несколько напугал Пульхерию Ивановну, смеялся, сидя согнувшись на своем стуле.

Пульхерия Ивановна для меня была занимательнее всего тогда, когда подводила гостя к закуске.

– Вот это, – говорила она, снимая пробку с графина, – водка, настоящая на деревий[30] и шалфей. Если у кого болят лопатки или поясница, то очень помогает. Вот это на золототысячник: если в ушах звенит и по лицу лишай делаются, то очень помогает. А вот эта – перегнанная на персиковые косточки; вот возьмите рюмку, какой прекрасный запах. Если как-нибудь, вставая с кровати, ударится кто об угол шкапа или стола и набежит на лбу гугля [31], то стоит только одну рюмочку выпить перед обедом – и все как рукой снимет, в ту же минуту все пройдет, как будто вовсе не бывало.

После этого такой перечень следовал и другим графинам, всегда почти имевшим ка-

кие-нибудь целебные свойства. Нагрузивши гостя всюю этою аптекою, она подводила его ко множеству стоявших тарелок.

– Вот это грибки с чебрецом[32]! это с гвоздиками и волошскими орехами[33]! Солить их выучила меня туркенья, в то время, когда еще турки были у нас в плену. Такая была добрая туркенья, и незаметно совсем, чтобы турецкую веру исповедовала. Так совсем и ходит, почти как у нас; только свинины не ела: говорит, что у них как-то там в законе запрещено. Вот это грибки с смородинным листом и мушкатным орехом! А вот это большие травянки[34]: я их еще в первый раз отваривала в уксусе; не знаю, каковы-то они; я узнала секрет от отца Ивана. В маленькой кадлушке прежде всего нужно разостлать дубовые листья и потом посыпать перцем и селитрою и положить еще что бывает на нечуй-витере [35] цвет, так этот цвет взять и хвостиками разостлать вверх. А вот это пирожки! это пирожки с сыром! это с урдою[36]! а вот это те, которые Афанасий Иванович очень любит, с капустою и гречневою кашею.

– Да, – прибавлял Афанасий Иванович, – я

их очень люблю; они мягкие и немножко кисленькие.

Вообще Пульхерия Ивановна была чрезвычайно в духе, когда бывали у них гости. Добрая старушка! Она вся принадлежала гостям. Я любил бывать у них, и хотя обедался страшным образом, как и все гостившие у них, хотя мне это было очень вредно, однако ж я всегда бывал рад к ним ехать. Впрочем, я думаю, что не имеет ли самый воздух в Малороссии какого-то особенного свойства, помогающего пищеварению, потому что если бы здесь вздумал кто-нибудь таким образом накушаться, то, без сомнения, вместо постели очутился бы лежащим на столе.

Добрые старички! Но повествование мое приближается к весьма печальному событию, изменившему навсегда жизнь этого мирного уголка. Событие это покажется тем более разительным, что произошло от самого мало-важного случая. Но, по странному устройству вещей, всегда ничтожные причины родили великие события, и наоборот – великие предприятия оканчивались ничтожными следствиями. Какой-нибудь завоеватель собирает

все силы своего государства, воюет несколько лет, полководцы его прославляются, и наконец все это оканчивается приобретением клочка земли, на котором негде посеять картофеля; а иногда, напротив, два какие-нибудь колбасника двух городов подерутся между собою за вздор, и ссора объемлет наконец города, потом села и деревни, а там и целое государство. Но оставим эти рассуждения: они не идут сюда. Притом я не люблю рассуждений, когда они остаются только рассуждениями.

У Пульхерии Ивановны была серенькая кошечка, которая всегда почти лежала, свернувшись клубком, у ее ног. Пульхерия Ивановна иногда ее гладила и щекотала пальцем по ее шейке, которую балованная кошечка вытягивала как можно выше. Нельзя сказать, чтобы Пульхерия Ивановна слишком любила ее, но просто привязалась к ней, привыкши ее всегда видеть. Афанасий Иванович, однако ж, часто подшучивал над такою привязанностью:

— Я не знаю, Пульхерия Ивановна, что вы такого находите в кошке. На что она? Если бы вы имели собаку, тогда бы другое дело: собаку можно взять на охоту, а кошка на что?

– Уж молчите, Афанасий Иванович, – говорила Пульхерия Ивановна, – вы любите только говорить, и больше ничего. Собака нечистоплотна, собака нагадит, собака перебьет все, а кошка тихое творение, она никому не сделает зла.



Впрочем, Афанасию Ивановичу было все равно, что кошки, что собаки; он для того только говорил так, чтобы немножко подшутить над Пульхерией Ивановной.

За садом находился у них большой лес, который был совершенно пощажен предприимчивым приказчиком, — может быть, оттого, что стук топора доходил бы до самых ушей Пульхерии Ивановны. Он был глух, запущен, старые древесные стволы были закрыты разросшимся орешником и походили на мохнатые лапы голубей. В этом лесу обитали дикие коты. Лесных диких котов не должно смешивать с теми удалцами, которые бегают по крышам домов. Находясь в городах, они, несмотря на крутой нрав свой, гораздо более цивилизованы, нежели обитатели лесов. Это, напротив того, большею частию народ мрачный и дикий; они всегда ходят тощие, худые, мяукают грубым, необработанным голосом. Они подрываются иногда подземным ходом под самые амбары и крадут сало, являются даже в самой кухне, прыгнувши внезапно в растворенное окно, когда заметят, что повар пошел в бурьян. Вообще никакие благо-

родные чувства им не известны; они живут хищничеством и душат маленьких воробьев в самых их гнездах. Эти коты долго обнюхивались сквозь дыру под амбаром с кроткою кошечкою Пульхерии Ивановны и наконец подманили ее, как отряд солдат подманивает глупую крестьянку. Пульхерия Ивановна заметила пропажу кошки, послала искать ее, но кошка не находилась. Прошло три дня; Пульхерия Ивановна пожалела, наконец вовсе о ней позабыла. В один день, когда она ревизировала свой огород и возвращалась с нарванными своею рукою зелеными свежими огурцами для Афанасия Ивановича, слух ее был поражен самым жалким мяуканьем. Она, как будто по инстинкту, произнесла: «Кис, кис!» – и вдруг из бурьяна вышла ее серенькая кошка, худая, тощая; заметно было, что она несколько уже дней не брала в рот никакой пищи. Пульхерия Ивановна продолжала звать ее, но кошка стояла перед нею, мяукала и не смела близко подойти; видно было, что она очень одичала с того времени. Пульхерия Ивановна пошла вперед, продолжая звать кошку, которая боязливо шла за нею до само-

го забора. Наконец, увидевши прежние, знакомые места, вошла и в комнату. Пульхерия Ивановна тотчас приказала подать ей молока и мяса и, сидя перед нею, наслаждалась жадностью бедной своей фаворитки[37], с какою она глотала кусок за куском и хлебала молоко. Серенькая беглянка почти в глазах ее растолстела и ела уже не так жадно. Пульхерия Ивановна протянула руку, чтобы погладить ее, но неблагодарная, видно, уже слишком свыклась с хищными котами или набралась романических правил, что бедность при любви лучше палат, а коты были голы как соколы; как бы то ни было, она выпрыгнула в окошко, и никто из дворовых не мог поймать ее.



Задумалась старушка. «Это смерть моя приходила за мною!» – сказала она сама в себе, и ничто не могло ее рассеять. Весь день она была скучна. Напрасно Афанасий Иванович шутил и хотел узнать, отчего она так вдруг загрустила: Пульхерия Ивановна была безответна или отвечала совершенно не так, чтобы можно было удовлетворить Афанасия Ивановича. На другой день она заметно похудела.

– Что это с вами, Пульхерия Ивановна? Уж не больны ли вы?

– Нет, я не больна, Афанасий Иванович! Я хочу вам объявить одно особенное происшествие: я знаю, что я этим летом умру; смерть моя уже приходила за мною!

Уста Афанасия Ивановича как-то болезненно искривились. Он хотел, однако ж, победить в душе своей грустное чувство и, улыбувшись, сказал:

– Бог знает что вы говорите, Пульхерия Ивановна! Вы, верно, вместо декохта[38], что часто пьете, выпили персиковой.

– Нет, Афанасий Иванович, я не пила персиковой, – сказала Пульхерия Ивановна.

И Афанасию Ивановичу сделалось жалко, что он так пошутил над Пульхерией Ивановной, и он смотрел на нее, и слеза повисла на его реснице.

– Я прошу вас, Афанасий Иванович, чтобы вы исполнили мою волю, – сказала Пульхерия Ивановна. – Когда я умру, то похороните меня возле церковной ограды. Платье наденьте на меня серенькое – то, что с небольшими цветочками по коричневому полю. Атласного платья, что с малиновыми полосками, не надевайте на меня: мертвой уже не нужно платье. На что оно ей? А вам оно пригодится: из него сошьете себе парадный халат на случай, когда приедут гости, то чтобы можно было вам прилично показаться и принять их.

– Бог знает что вы говорите, Пульхерия Ивановна! – говорил Афанасий Иванович, – когда-то еще будет смерть, а вы уже страшаете такими словами.

– Нет, Афанасий Иванович, я уже знаю, когда моя смерть. Вы, однако ж, не горюйте за мною: я уже старуха и довольно пожила, да и вы уже стары, мы скоро увидимся на том свете.

Но Афанасий Иванович рыдал, как ребенок.

– Грех плакать, Афанасий Иванович! Не грешите и Бога не гневите своею печалью. Я не жалею о том, что умираю. Об одном только жалею я (тяжелый вздох прервал на минуту речь ее): я жалею о том, что не знаю, на кого оставить вас, кто присмотрит за вами, когда я умру. Вы как дитя маленькое: нужно, чтобы любил вас тот, кто будет ухаживать за вами.

При этом на лице ее выразилась такая глубокая, такая сокрушительная сердечная жалость, что я не знаю, мог ли бы кто-нибудь в то время глядеть на нее равнодушно.

– Смотри мне, Явдоха, – говорила она, обращаясь к ключнице, которую нарочно велела позвать, – когда я умру, чтобы ты глядела за паном, чтобы берегла его, как глаза своего, как свое родное дитя. Гляди, чтобы на кухне готовилось то, что он любит. Чтобы белье и платье ты ему подавала всегда чистое; чтобы, когда гости случатся, ты принарядила его прилично, а то, пожалуй, он иногда выйдет в старом халате, потому что и теперь часто забывает он, когда праздничный день, а когда

будничный. Не своди с него глаз, Ядвоха, я буду молиться за тебя на том свете, и Бог наградит тебя. Не забывай же, Явдоха; ты уже стара, тебе не долго жить, не набирай греха на душу. Когда же не будешь за ним присматривать, то не будет тебе счастья на свете. Я сама буду просить Бога, чтобы не давал тебе благополучной кончины. И сама ты будешь несчастна, и дети твои будут несчастны, и весь род ваш не будет иметь ни в чем благословения Божия.

Бедная старушка! она в то время не думала ни о той великой минуте, которая ее ожидает, ни о душе своей, ни о будущей своей жизни; она думала только о бедном своем спутнике, с которым провела жизнь и которого оставляла сырым и бесприютным. Она с необыкновенною расторопностью распорядилась все таким образом, чтобы после нее Афанасий Иванович не заметил ее отсутствия. Уверенность ее в близкой своей кончине так была сильна и состояние души ее так было к этому настроено, что действительно чрез несколько дней она слегла в постель и не могла уже принимать никакой пищи. Афанасий Иванович

весь превратился во внимательность и не отходил от ее постели. «Может быть, вы чего-нибудь бы покушали, Пульхерия Ивановна?» – говорил он, с беспокойством смотря в глаза ей. Но Пульхерия Ивановна ничего не говорила. Наконец, после долгого молчания, как будто хотела она что-то сказать, пошевелила губами – и дыхание ее улетело.

Афанасий Иванович был совершенно поражен. Это так казалось ему дико, что он даже не заплакал. Мутными глазами глядел он на нее, как бы не понимая значения трупа.

Покойницу положили на стол, одели в то самое платье, которое она сама назначила, сложили ей руки крестом, дали в руки восковую свечу, – он на все это глядел бесчувственно. Множество народа всякого звания наполнило двор, множество гостей приехало на похороны, длинные столы расставлены были по двору; кутья, наливки, пироги покрывали их кучами; гости говорили, плакали, глядели на покойницу, рассуждали о ее качествах, смотрели на него, – но он сам на все это глядел странно. Покойницу понесли наконец, народ повалил следом, и он пошел за нею; священ-

ники были в полном облачении, солнце светило, грудные ребенки плакали на руках матерей, жаворонки пели, дети в рубашонках бегали и резвились по дороге. Наконец гроб поставили над ямой, ему велели подойти и поцеловать в последний раз покойницу; он подошел, поцеловал, на глазах его показались слезы, – но какие-то бесчувственные слезы. Гроб опустили, священник взял заступ и первый бросил горсть земли, густой протяжный хор дьячка[39] и двух пономарей[40] пропел вечную память под чистым, безоблачным небом, работники принялись за заступы, и земля уже покрыла и сровняла яму, – в это время он пробрался вперед; все расступились, дали ему место, желая знать его намерение. Он поднял глаза свои, посмотрел смутно и сказал: «Так вот это вы уже и погребли ее! зачем?!» Он остановился и не докончил своей речи.

Но когда возвратился он домой, когда увидел, что пусто в его комнате, что даже стул, на котором сидела Пульхерия Ивановна, был вынесен, – он рыдал, рыдал сильно, рыдал неутешно, и слезы, как река, лились из его



тусклых очей.

Пять лет прошло с того времени. Какого горя не уносит время? Какая страсть уцелеет в неровной битве с ним? Я знал одного человека в цвете юных еще сил, исполненного истинного благородства и достоинств, я знал его влюбленным нежно, страстно, бешено, дерзко, скромно, и при мне, при моих глазах почти, предмет его страсти – нежная, прекрасная, как ангел, – была поражена ненасытной смертью. Я никогда не видал таких ужасных порывов душевного страдания, такой бе-

шеной, палящей тоски, такого пожирающего отчаяния, какие волновали несчастного любовника. Я никогда не думал, чтобы мог человек создать для себя такой ад, в котором ни тени, ни образа и ничего, что бы сколько-нибудь походило на надежду... Его старались не выпускать с глаз; от него спрятали все орудия, которыми бы он мог умертвить себя. Две недели спустя он вдруг победил себя: начал смеяться, шутить; ему дали свободу, и первое, на что он употребил ее, это было – купить пистолет. В один день внезапно раздавшийся выстрел перепугал ужасно его родных. Они вбежали в комнату и увидели его распростертого, с раздробленным черепом. Врач, случившийся тогда, об искусстве которого гремела всеобщая молва, увидел в нем признаки существования, нашел рану не совсем смертельною, и он, к изумлению всех, был вылечен. Присмотр за ним увеличили еще более. Даже за столом не клали возле него ножа и старались удалить все, чем бы мог он себя ударить; но он в скором времени нашел новый случай и бросился под колеса проезжавшего экипажа. Ему растрожило[41] руку и но-

гу; но он опять был вылечен. Год после этого я видел его в одном многолюдном зале: он сидел за столом, весело говорил: «петит-уверт» [42], закрывши одну карту, и за ним стояла, облокотившись на спинку его стула, молоденькая жена его, перебирая его марки [43].

По истечении сказанных пяти лет после смерти Пульхерии Ивановны я, будучи в тех местах, заехал в хуторок Афанасия Ивановича навестить моего старинного соседа, у которого когда-то приятно проводил день и всегда обедался лучшими изделиями радушной хозяйки. Когда я подъехал ко двору, дом мне показался вдвое старше, крестьянские избы совсем легли набок – без сомнения, так же, как и владельцы их; частокол и плетень в дворе были совсем разрушены, и я видел сам, как кухарка выдергивала из него палки для затопки печи, тогда как ей нужно было сделать только два шага лишних, чтобы достать тут же наваленного хвороста. Я с грустью подъехал к крыльцу; те же самые барбосы и бровки, уже слепые или с перебитыми ногами, залаяли, поднявши вверх свои волнистые, обвешанные репейниками хвосты. Навстречу вы-

шел старик. Так это он! я тотчас же узнал его; но он согнулся уже вдвое против прежнего. Он узнал меня и приветствовал с тою же знакомою мне улыбкою. Я вошел за ним в комнаты; казалось, все было в них по-прежнему; но я заметил во всем какой-то странный беспорядок, какое-то ощутительное отсутствие чего-то; словом, я ощутил в себе те странные чувства, которые овладевают нами, когда мы вступаем в первый раз в жилище вдовца, которого прежде знали нераздельным с подругою, сопровождавшею его всю жизнь. Чувства эти бывают похожи на то, когда видим перед собою без ноги человека, которого всегда знали здоровым. Во всем видно было отсутствие заботливой Пульхерии Ивановны: за столом подали один нож без черенка; блюда уже не были приготовлены с таким искусством. О хозяйстве я не хотел и спросить, боялся даже и взглянуть на хозяйственные заведения.

Когда мы сели за стол, девка завязала Афанасия Ивановича салфеткою, – и очень хорошо сделала, потому что без того он бы весь халат свой запачкал соусом. Я старался его чем-нибудь занять и рассказывал ему разные но-

вости; он слушал с тою же улыбкою, но по временам взгляд его был совершенно бесчувствен, и мысли в нем не бродили, но исчезали. Часто поднимал он ложку с кашею и, вместо того чтобы подносить ко рту, подносил к носу; вилку свою, вместо того чтобы воткнуть в кусок цыпленка, он тыкал в графин, и тогда девка, взявши его за руку, наводила на цыпленка. Мы иногда ожидали по несколько минут следующего блюда. Афанасий Иванович уже сам замечал это и говорил: «Что это так долго не несут кушанья?» Но я видел сквозь щель в дверях, что мальчик, разносивший нам блюда, вовсе не думал о том и спал, свесивши голову на скамью.

«Вот это то кушанье, – сказал Афанасий Иванович, когда подали нам *мнишки*[44] со сметаною, – это то кушанье, – продолжал он, и я заметил, что голос его начал дрожать и слеза готовилась выглянуть из его свинцовых глаз, но он собирал все усилия, желая удержать ее. – Это то кушанье, которое по... по... покой... покойни...» – и вдруг брызнул слезами. Рука его упала на тарелку, тарелка опрокинулась, полетела и разбилась, соус залил

его всего; он сидел бесчувственно, бесчувственно держал ложку, и слезы, как ручей, как немолчно текущий фонтан, лились, лились ливмя на застилавшую его салфетку. «Боже! – думал я, глядя на него, – пять лет всеистребляющего времени – старик уже бесчувственный, старик, которого жизнь, казалось, ни разу не возмущало ни одно сильное ощущение души, которого вся жизнь, казалось, состояла только из сидения на высоком стуле, из ядения сушеных рыбок и груш, из добродушных рассказов, – и такая долгая, такая жаркая печаль! Что же сильнее над нами: страсть или привычка? Или все сильные порывы, весь вихорь наших желаний и кипящих страстей – есть только следствие нашего яркого возраста и только по тому одному кажутся глубоки и сокрушительны?» Что бы ни было, но в это время мне казались детскими все наши страсти против этой долгой, медленной, почти бесчувственной привычки. Несколько раз силился он выговорить имя покойницы, но на половине слова спокойное и обыкновенное лицо его судорожно исковеркивалось, и плач дитяти поражал меня в са-

мое сердце. Нет, это не те слезы, на которые обыкновенно так щедры старички, представляющие вам жалкое свое положение и несчастья; это были также не те слезы, которые они роняют за стаканом пуншу; нет! это были слезы, которые текли не спрашиваясь, сами собою, накапливаясь от едкости боли уже охладевшего сердца.



Он не долго после того жил. Я недавно услышал об его смерти. Странно, однако же, то, что обстоятельства кончины его имели какое-то сходство с кончиною Пульхерии Ивановны. В один день Афанасий Иванович решился немного пройтись по саду. Когда он медленно шел по дорожке с обыкновенною своею беспечною, вовсе не имея никакой

мысли, с ним случилось странное происшествие. Он вдруг услышал, что позади его произнес кто-то довольно явственным голосом: «Афанасий Иванович!» Он оборотился, но никого совершенно не было, посмотрел во все стороны, заглянул в кусты – нигде никого. День был тих, и солнце сияло. Он на минуту задумался; лицо его как-то оживилось, и он наконец произнес: «Это Пульхерия Ивановна зовет меня!»

Вам, без сомнения, когда-нибудь случалось слышать голос, называющий вас по имени, который простолюдины объясняют тем, что душа стосковалась за человеком и призывает его, и после которого следует неминуемо смерть. Признаюсь, мне всегда был страшен этот таинственный зов. Я помню, что в детстве часто его слышал: иногда вдруг позади меня кто-то явственно произносил мое имя. День обыкновенно в это время был самый ясный и солнечный; ни один лист в саду на дереве не шевелился, тишина была мертвая, даже кузнечик в это время переставал кричать; ни души в саду; но, признаюсь, если бы ночь самая бешеная и бурная, со всем адом стихий,

настигла меня одного среди непроходимого леса, я бы не так испугался ее, как этой ужасной тишины среди безоблачного дня. Я обыкновенно тогда бежал с величайшим страхом и занимавшимся дыханием из сада, и тогда только успокоивался, когда попадался мне навстречу какой-нибудь человек, вид которого изгонял эту страшную сердечную пустыню.

Он весь покорился своему душевному убеждению, что Пульхерия Ивановна зовет его; он покорился с волею послушного ребенка, сохнул, кашлял, таял как свечка и наконец угас так, как она, когда уже ничего не осталось, что бы могло поддержать бедное ее пламя. «Положите меня возле Пульхерии Ивановны», – вот все, что произнес он перед своею кончиною.

Желание его исполнили и похоронили возле церкви, близ могилы Пульхерии Ивановны. Гостей было меньше на похоронах, но простого народа и нищих было такое же множество. Домик барский уже сделался вовсе пуст. Предприимчивый приказчик вместе с войтом перетащили в свои избы все оставшиеся старинные вещи и рухлядь, которую не

могла утащить ключница. Скоро приехал, неизвестно откуда, какой-то дальний родственник, наследник имения, служивший прежде поручиком[45], не помню в каком полку, страшный реформатор. Он увидел тотчас величайшее расстройство и упущение в хозяйственных делах; все это решился он непременно искоренить, исправить и ввести во всем порядок. Накупил шесть прекрасных английских серпов, приколотил к каждой избе особенный номер и, наконец, так хорошо распорядился, что имение через шесть месяцев взято было в опеку. Мудрая опека (из одного бывшего заседателя[46] и какого-то штабс-капитана[47] в полинялом мундире) перевела в непродолжительное время всех кур и все яйца. Избы, почти совсем лежавшие на земле, развалились вовсе; мужики распьянствовались и стали большею частью числиться в бегах. Сам же настоящий владелец, который, впрочем, жил довольно мирно с своею опекою и пил вместе с нею пунш, приезжал очень редко в свою деревню и проживал недолго. Он до сих пор ездит по всем ярмаркам в Малороссии; тщательно осведом-

ляется о ценах на разные большие произведения, продающиеся оптом, как-то: муку, пеньку, мед и прочее, но покупает только небольшие безделушки, как-то: кремешки[48], гвоздь прочищать трубку и вообще все то, что не превышает всем оптом своим цены одного рубля.

Вий[49][50]



Как только ударял в Киеве поутру довольно звонкий семинарский колокол, висевший у ворот Братского монастыря[51], то уже со всего города спешили толпами школьники и бурсаки. Грамматики, риторы, философы и богословы[52], с тетрадами под мышкой, брели в класс. Грамматики были еще очень малы; идя, толкали друг друга и бранились меж-

ду собою самым тоненьким дискантом; они были все почти в изодранных или запачканных платьях, и карманы их вечно были наполнены всякой дрянью; как-то: бабками, свистелками, сделанными из перышек, недоеденным пирогом, а иногда даже и маленькими воробьянками, из которых один, вдруг чликнув среди необыкновенной тишины в классе, доставлял своему патрону порядочные пали[53] в обе руки, а иногда и вишневые розги. Риторы шли солиднее: платья у них были часто совершенно целы, но зато на лице всегда почти бывало какое-нибудь украшение в виде риторического тропа[54]: или один глаз уходил под самый лоб, или вместо губы целый пузырь, или какая-нибудь другая примета; эти говорили и божились между собою тенором. Философы целою октавою брали ниже: в карманах их, кроме крепких табачных корешков, ничего не было. Запасов они не делали никаких и все, что попадалось, съедали тогда же; от них слышалась трубка и горелка иногда так далеко, что проходивший мимо ремесленник долго еще, остановившись, нюхал, как гончая собака, воздух.

Рынок в это время обыкновенно только что начинал шевелиться, и торговки с бубликами, булками, арбузными семечками и маковниками дергали наподхват за полы тех, у которых полы были из тонкого сукна или какой-нибудь бумажной материи.

– Паничи! паничи! сюды! сюды! – говорили они со всех сторон. – Ось бублики, маковники [55], вертычки[56], буханци[57] хороши! ей-богу, хороши! на меду! сама пекла!

Другая, подняв что-то длинное, скрученное из теста, кричала:

– Ось сусулька! паничи, купите сусульку!

– Не покупайте у этой ничего: смотрите, какая она скверная – и нос нехороший, и руки нечистые...

Но философов и богословов они боялись задевать, потому что философы и богословы всегда любили брать только на пробу и притом целою горстью.

По приходе в семинарию вся толпа размещалась по классам, находившимся в низеньких, довольно, однако же, просторных комнатах с небольшими окнами, с широкими дверьми и запачканными скамьями. Класс

наполнялся вдруг разноголосными жужжаниями: аудиторы[58] выслушивали своих учеников; звонкий дискант грамматика попадал как раз в звон стекла, вставленного в маленькие окна, и стекло отвечало почти тем же звуком; в углу гудел ритор, которого рот и толстые губы должны бы принадлежать, по крайней мере, философии. Он гудел басом, и только слышно было издали: бу, бу, бу, бу... Аудиторы, слушая урок, смотрели одним взглядом под скамью, где из кармана подчиненного бурсака выглядывала булка, или вареник, или семена из тыкв.

Когда вся эта ученая толпа успевала приходить несколько ранее или когда знали, что профессора будут позже обыкновенного, тогда, со всеобщего согласия, замышляли бой, и в этом бою должны были участвовать все, даже и цензора, обязанные смотреть за порядком и нравственностью всего учащегося сословия. Два богослова обыкновенно решали, как происходить битве: каждый ли класс должен стоять за себя особенно или все должны разделиться на две половины: на бурсу и семинарию[59]. Во всяком случае, грамматики

начинали прежде всех, и как только вместились риторы, они уже бежали прочь и становились на возвышениях наблюдать битву. Потом вступала философия с черными длинными усами, а наконец и богословия, в ужасных шароварах и с претолстыми шеями. Обыкновенно оканчивалось тем, что богословия побивала всех, и философия, почесывая бока, была теснима в класс и помещалась отдышаться на скамьях. Профессор, входивший в класс и участвовавший когда-то сам в подобных боях, в одну минуту, по разгоревшимся лицам своих слушателей, узнавал, что бой был недурен, и в то время, когда он сек розгами по пальцам риторику, в другом классе другой профессор отделявал деревянными лопатками по рукам философию. С богословами же было поступаемо совершенно другим образом: им, по выражению профессора богословия, отсыпалось по мерке *крупного гороху*, что состояло в коротеньких кожаных канчуках[60].

В торжественные дни и праздники семинаристы и бурсаки отправлялись по домам с вертепами[61]. Иногда разыгрывали комедию

[62], и в таком случае всегда отличался какой-нибудь богослов, ростом мало чем пониже киевской колокольни, представлявший Иродиаду[63] или Пентефрию, супругу египетского царедворца[64]. В награду получали они кусок полотна, или мешок проса, или половину вареного гуся и тому подобное.

Весь этот ученый народ, как семинария, так и бурса, которые питали какую-то наследственную неприязнь между собою, был чрезвычайно беден на средства к прокормлению и притом необыкновенно прожорлив; так что сосчитать, сколько каждый из них уписывал за вечерю[65] галушек, было бы совершенно невозможное дело; и потому dobroхотные пожертвования зажиточных владельцев не могли быть достаточны. Тогда сенат, состоявший из философов и богословов, отправлял грамматиков и риторов под предводительством одного философа, – а иногда присоединялся и сам, – с мешками на плечах опустошать чужие огороды. И в бурсе появлялась каша из тыкв. Сенаторы столько объедались арбузов и дынь, что на другой день аудиторы слышали от них вместо одного два урока: один проис-

ходил из уст, другой ворчал в сенаторском желудке. Бурса и семинария носили какие-то длинные подоби́я сюртуков, постиравшихся *по сие время*: слово техническое, означавшее – далее пяток.

Самое торжественное для семинарии событие было *вакансии*[66] – время с июня месяца, когда обыкновенно бурса распускалась по домам. Тогда всю большую дорогу усеивали грамматики, философы и богословы. Кто не имел своего приюта, тот отправлялся к кому-нибудь из товарищей. Философы и богословы отправлялись *на кондиции*, то есть брались учить или готовить детей людей зажиточных, и получали за то в год новые сапоги, а иногда и на сюртук. Вся ватага эта тянулась вместе целым табором; варила себе кашу и ночевала в поле. Каждый тащил за собою мешок, в котором находилась одна рубашка и пара онуч[67]. Богословы особенно были бережливы и аккуратны: для того чтобы не износить сапогов, они скидали их, вешали на палки и несли на плечах, особенно когда была грязь. Тогда они, засучив шаровары по колени, бесстрашно разбрызгивали

своими ногами лужи. Как только завидывали в стороне хутор[68], тотчас сворочали с большой дороги и, приблизившись к хате, выстроенной поопрятнее других, становились перед окнами в ряд и во весь рот начинали петь кант[69]. Хозяин хаты, какой-нибудь старый козак-поселянин, долго их слушал, подпершись обеими руками, потом рыдал прегорько и говорил, обращаясь к своей жене: «Жинко! то, что поют школяры, должно быть очень разумное; вынеси им сала и что-нибудь такого, что у нас есть!» И целая миска вареников валилась в мешок. Порядочный кус сала, несколько паляниц[70], а иногда и связанная курица помещались вместе. Подкрепившись таким запасом, грамматики, риторы, философы и богословы опять продолжали путь. Чем далее, однако же, шли они, тем более уменьшалась толпа их. Все почти разбродились по домам, и оставались те, которые имели родительские гнезда далее других.

Один раз во время подобного странствования три бурсака своротили с большой дороги в сторону, с тем чтобы в первом попавшемся хуторе заpastись провиантом, потому что ме-

шок у них давно уже был пуст. Это были: богослов Халява[71], философ Хома Брут[73] и ритор Тиберий[74] Горобець[75].

Богослов был рослый, плечистый мужчина и имел чрезвычайно странный нрав: все, что ни лежало, бывало, возле него, он непременно украдет. В другом случае характер его был чрезвычайно мрачен, и когда напивался он пьян, то прятался в бурьяне, и семинарии стоило большого труда его сыскать там.



Философ Хома Брут был нрава веселого. Любил очень лежать и курить люльку[76]. Ес-

ли же пил, то непременно нанимал музыкантов и отплясывал тропака[77]. Он часто пробова*л крупного гороху*, но совершенно с философическим равнодушием, – говоря, что чему быть, того не миновать.

Ритор Тиберий Горобець еще не имел права носить усов, пить горелки и курить люльки. Он носил только оселедец[78], и потому характер его в то время еще мало развился; но, судя по большим шишкам на лбу, с которыми он часто являлся в класс, можно было предположить, что из него будет хороший воин. Богослов Халява и философ Хома часто д*ирали его за чуб* в знак своего покровительства и употребляли в качестве депутата.

Был уже вечер, когда они своротили с большой дороги. Солнце только что село, и дневная теплота оставалась еще в воздухе. Богослов и философ шли молча, куря люльки; ритор Тиберий Горобець сбивал палкою головки с будяков[79], росших по краям дороги. Дорога шла между разбросанными группами дубов и орешника, покрывавшими луг. Отлогости и небольшие горы, зеленые и круглые, как куполы, иногда перемежевывали равни-

ну. Показавшаяся в двух местах нива с вызре-
вавшим житом[80] давала знать, что скоро
должна появиться какая-нибудь деревня. Но
уже более часу, как они минули хлебные по-
лосы, а между тем им не попадалось никако-
го жилья. Сумерки уже совсем омрачили
небо, и только на западе бледнел остаток ало-
го сияния.



– Что за черт! – сказал философ Хома
Брут, – сдавалось совершенно, как будто сей-
час будет хутор.

Богослов помолчал, поглядел по окрестно-
стям, потом опять взял в рот свою люльку, и
все продолжали путь.

– Ей-богу! – сказал, опять остановившись,
философ. – Ни чертова кулака не видно.

– А может быть, далее и попадетя какой-нибудь хутор, – сказал богослов, не выпуская люльки.

Но между тем уже была ночь, и ночь довольно темная. Небольшие тучи усилили мрачность, и, судя по всем приметам, нельзя было ожидать ни звезд, ни месяца. Бурсаки заметили, что они сбились с пути и давно шли не по дороге.

Философ, пошаривши ногами во все стороны, сказал наконец отрывисто:

– А где же дорога?

Богослов помолчал и, надумавшись, при-
молвил:

– Да, ночь темная.

Ритор отошел в сторону и старался ползком нащупать дорогу, но руки его попадали только в лисьи норы. Везде была одна степь, по которой, казалось, никто не ездил. Путешественники еще сделали усилие пройти несколько вперед, но везде была та же дичь. Философ попробовал перекликнуться, но голос его совершенно заглох по сторонам и не встретил никакого ответа. Несколько спустя только послышалось слабое стенание, похо-

же на волчий вой.

– Вишь, что тут делать? – сказал философ.

– А что? оставаться и заночевать в поле! – сказал богослов и полез в карман достать огниво[81] и закурить снова свою люльку. Но философ не мог согласиться на это. Он всегда имел обыкновение упрятать на ночь полпудовую краюху хлеба и фунта четыре сала и чувствовал на этот раз в желудке своем какое-то несносное одиночество. Притом, несмотря на веселый нрав свой, философ боялся несколько волков.



– Нет, Халява, не можно, – сказал он. – Как же, не подкрепив себя ничем, растянуться и лечь так, как собаке? Попробуем еще; может быть, набредем на какое-нибудь жильё и хоть

чарку горелки удастся выпить на ночь.

При слове «горелка» богослов сплюнул в сторону и примолвил:

– Оно конечно, в поле оставаться нечего.

Бурсаки пошли вперед, и, к величайшей радости их, в отдалении почудился лай. Прислушавшись, с которой стороны, они отправились бодрее и, немного пройдя, увидели огонек.

– Хутор! ей-богу, хутор! – сказал философ.

Предположения его не обманули: через несколько времени они увидели, точно, небольшой хуторок, состоявший из двух только хат, находившихся в одном и том же дворе. В окнах светился огонь. Десяток сливных деревьев торчало под тыном[82]. Взглянувши в сквозные дощатые ворота, бурсаки увидели двор, установленный чумацкими возами[83]. Звезды кое-где глянули в это время на небе.

– Смотрите же, братцы, не отставать! во что бы то ни было, а добыть ночлега!

Три ученые мужа дружно ударили в ворота и закричали:

– Отвори!

Дверь в одной хате заскрипела, и минуту

спустя бурсаки увидели перед собою старуху в нагольном тулупе[84].

– Кто там? – закричала она, глухо кашляя.

– Пусти, бабуся, переночевать. Сбились с дороги. Так в поле скверно, как в голодном брюхе.

– А что вы за народ?

– Да народ необидчивый: богослов Халява, философ Брут и ритор Горобець.

– Не можно, – проворчала старуха, – у меня народу полон двор, и все углы в хате заняты. Куды я вас дену? Да еще всё какой рослый и здоровый народ! Да у меня и хата развалится, когда помещу таких. Я знаю этих философов и богословов. Если таких пьяниц начнешь принимать, то и двора скоро не будет. Пошли! пошли! Тут вам нет места.

– Умилосердись, бабуся! Как же можно, чтобы христианские души пропали ни за что ни про что! Где хочешь помести нас. И если мы что-нибудь, как-нибудь того или какое другое что сделаем, – то пусть нам и руки отсохнут, и такое будет, что Бог один знает. Вот что!

Старуха, казалось, немного, смягчилась.

– Хорошо, – сказала она, как бы размышляя, – я впусти вас; только положу всех в разных местах: а то у меня не будет спокойно на сердце, когда будете лежать вместе.

– На то твоя воля; не будем прекословить, – отвечали бурсаки.

Ворота заскрыпели, и они вошли во двор.

– А что, бабуся, – сказал философ, идя за старухой, – если бы так, как говорят... ей-богу, в животе как будто кто колесами стал ездить. С самого утра вот хоть бы щепка была во рту.

– Вишь, чего захотел! – сказала старуха. – Нет у меня, нет ничего такого, и печь не топилась сегодня.

– А мы бы уже за все это, – продолжал философ, – расплатились бы завтра как следует – чистоганом. Да, – продолжал он тихо, – черта с два получишь ты что-нибудь!

– Ступайте, ступайте! и будьте довольны тем, что дают вам. Вот черт принес каких нежных паничей!

Философ Хома пришел в совершенное уныние от таких слов. Но вдруг нос его почувствовал запах сушеной рыбы. Он глянул на шаровары богослова, шедшего с ним рядом, и уви-

дел, что из кармана его торчал преогромный рыбий хвост: богослов уже успел подтибрить с воза целого карася. И так как он это производил не из какой-нибудь корысти, но единственно по привычке, и, позабывши совершенно о своем карасе, уже разглядывал, что бы такое стянуть другое, не имея намерения пропустить даже изломанного колеса, – то философ Хома запустил руку в его карман, как в свой собственный, и вытащил карася.

Старуха разместила бурсаков: ритора положила в хате, богослова заперла в пустую комнату[85], философу отвела тоже пустой овечий хлев.

Философ, оставшись один, в одну минуту съел карася, осмотрел плетеные стены хлева, толкнул ногою в морду просунувшуюся из другого хлева любопытную свинью и повернулся на другой бок, чтобы заснуть мертвецки. Вдруг низенькая дверь отворилась, и старуха, нагнувшись, вошла в хлев.

– А что, бабуся, чего тебе нужно? – сказал философ.

Но старуха шла прямо к нему с распростертыми руками.

«Эге-ге! – подумал философ. – Только нет, голубушка! устарела». Он отодвинулся немного подальше, но старуха, без церемонии, опять подошла к нему.

– Слушай, бабуся! – сказал философ, – теперь пост; а я такой человек, что и за тысячу золотых не захочу оскоромиться.

Но старуха раздвигала руки и ловила его, не говоря ни слова.

Философу сделалось страшно, особенно когда он заметил, что глаза ее сверкнули каким-то необыкновенным блеском.

– Бабуся! что ты? Ступай, ступай себе с Богом! – закричал он.

Но старуха не говорила ни слова и хватала его руками.

Он вскочил на ноги, с намерением бежать, но старуха стала в дверях и вперила на него сверкающие глаза и снова начала подходить к нему.

Философ хотел оттолкнуть ее руками, но, к удивлению, заметил, что руки его не могут приподняться, ноги не двигались; и он с ужасом увидел, что даже голос не звучал из уст его: слова без звука шевелились на губах. Он

слышал только, как билось его сердце; он видел, как старуха подошла к нему, сложила ему руки, нагнула ему голову, вскочила с быстротою кошки к нему на спину, ударила его метлой по боку, и он, подпрыгивая, как верховой конь, понес ее на плечах своих. Все это случилось так быстро, что философ едва мог опомниться и схватил обеими руками себя за колени, желая удержать ноги; но они, к величайшему изумлению его, подымались против воли и производили скачки быстрее черкесского бегуна. Когда уже минули они хутор и перед ними открылась ровная лощина, а в стороне потянулся черный, как уголь, лес, тогда только сказал он сам в себе: «Эге, да это ведьма».



Обращенный месячный серп светлел на небе. Робкое полночное сияние, как сквозное покрывало, ложилось легко и дымилось на земле. Леса, луга, небо, долины – все, казалось, как будто спало с открытыми глазами. Ветер хоть бы раз вспорхнул где-нибудь. В ночной свежести было что-то влажно-теплое. Тени от деревьев и кустов, как кометы, острыми клинами падали на отлогую равнину. Такая была ночь, когда философ Хома Брут скакал с непонятым всадником на спине. Он чувствовал какое-то томительное, неприятное и вместе сладкое чувство, подступавшее к его сердцу. Он опустил голову вниз и видел, что трава, бывшая почти под ногами его, казалось, росла глубоко и далеко и что сверх ее находилась прозрачная, как горный ключ, вода, и трава казалась дном какого-то светлого, прозрачного до самой глубины моря; по крайней мере, он видел ясно, как он отражался в нем вместе с сидевшею на спине старухою. Он видел, как вместо месяца светило там какое-то солнце; он слышал, как голубые колокольчики, наклоняя свои головки, звенели. Он видел, как из-за осоки выплывала русалка,

мелькала спина и нога, выпуклая, упругая, вся созданная из блеска и трепета. Она оборотилась к нему – и вот ее лицо, с глазами светлыми, сверкающими, острыми, с пеньем вторгавшимися в душу, уже приближалось к нему, уже было на поверхности и, задрожав сверкающим смехом, удалялось, – и вот она опрокинулась на спину, и облачные перси ее, матовые, как фарфор, не покрытый глазурью, просвечивали пред солнцем по краям своей белой, эластически-нежной окружности. Вода в виде маленьких пузырьков, как бисер, обсыпала их. Она вся дрожит и смеется в воде...

Видит ли он это или не видит? Наяву ли это или спится? Но там что? Ветер или музыка: звенит, звенит, и вьется, и подступает, и вонзается в душу какую-то нестерпимую трелью...

«Что это?» – думал философ Хома Брут, глядя вниз, несясь во всю прыть. Пот катился с него градом. Он чувствовал бесовски сладкое чувство, он чувствовал какое-то пронзающее, какое-то томительно-страшное наслаждение. Ему часто казалось, как будто сердца уже во все не было у него, и он со страхом хватался



за него рукою. Изнеможенный, растерянный, он начал припоминать все какие только знал, молитвы. Он перебирал все заклятия против духов – и вдруг почувствовал какое-то освежение; чувствовал, что шаг его начинал становиться ленивее, ведьма как-то слабее держалась на спине его. Густая трава касалась его, и уже он не видел в ней ничего необыкновенного. Светлый серп светил на

небе.

«Хорошо же!» – подумал про себя философ Хома и начал почти вслух произносить заклятия. Наконец с быстротою молнии выпрыгнул из-под старухи и вскочил, в свою очередь, к ней на спину. Старуха мелким, дробным шагом побежала так быстро, что всадник едва мог переводить дух свой. Земля чуть мелькала под ним. Все было ясно при месячном, хотя и неполном свете. Долины были гладки, но все от быстроты мелькало неясно и сбивчиво в его глазах. Он схватил лежавшее на дороге полено и начал им со всех сил колотить старуху. Дикая вопли издала она; сначала были они сердиты и угрожающи, потом становились слабее, приятнее, чище, и потом уже тихо, едва звенели, как тонкие серебряные колокольчики, и заронялись ему в душу; и невольно мелькнула в голове мысль: точно ли это старуха? «Ох, не могу больше!» – произнесла она в изнеможении и упала на землю.

Он стал на ноги и посмотрел ей в очи: рассвет загорался, и блестели золотые главы вдали киевских церквей. Перед ним лежала красавица, с растрепанною роскошною косою, с

длинными, как стрелы, ресницами. Бесчувственно отбросила она на обе стороны белые нагие руки и стонала, возведя кверху очи, полные слез.

Затрепетал, как древесный лист, Хома: жалость и какое-то странное волнение и робость, неведомые ему самому, овладели им; он пустился бежать во весь дух. Дорогой билось беспокойно его сердце, и никак не мог он истолковать себе, что за странное, новое чувство им овладело. Он уже не хотел более идти на хутора и спешил в Киев, раздумывая всю дорогу о таком непонятном происшествии.

Бурсаков почти никого не было в городе: все разбрелись по хуторам, или на кондиции, или просто без всяких кондиций, потому что по хуторам малороссийским можно есть галушки[86], сыр, сметану и вареники величиною в шляпу, не заплатив гроша денег. Большая разъехавшаяся хата, в которой помещалась бурса, была решительно пуста, и сколько философ ни шарил во всех углах и даже ощупал все дыры и западни в крыше, но нигде не отыскал ни куска сала или, по крайней мере,

старого книша[87], что, по обыкновению, запрягиваемо было бурсаками.

Однако же философ скоро сыскался, как поправить своему горю: он прошел, посвистывая, раза три по рынку, перемигнулся на самом конце с какою-то молодою вдовою в желтом очипке[88], продававшею ленты, ружейную дробь и колеса, – и был того же дня накормлен пшеничными варениками, курицею... и, словом, перечесть нельзя, что у него было за столом, накрытым в маленьком глиняном домике среди вишневого садика. Того же самого вечера видели философа в корчме: он лежал на лавке, покуривая, по обыкновению своему, люльку, и при всех бросил жиду-корчмарю ползолотой. Перед ним стояла кружка. Он глядел на приходивших и уходивших хладнокровно-довольными глазами и во все уже не думал о своем необыкновенном происшествии.

Между тем распространились везде слухи, что дочь одного из богатейших сотников[89], которого хутор находился в пятидесяти верстах от Киева, возвратилась в один день с

прогулки вся избитая, едва имевшая силы добреть до отцовского дома, находится при смерти и перед смертным часом изъявила желание, чтобы отходную по ней и молитвы в продолжение трех дней после смерти читал один из киевских семинаристов: Хома Брут. Об этом философ узнал от самого ректора, который нарочно призывал его в свою комнату и объявил, чтобы он без всякого отлагательства спешил в дорогу, что именитый сотник прислал за ним нарочно людей и возок.

Философ вздрогнул по какому-то безотчетному чувству, которого он сам не мог растолковать себе. Темное предчувствие говорило ему, что ждет его что-то недоброе. Сам не зная почему, объявил он напрямик, что не поедет.

– Послушай, domine[90] Хома! – сказал ректор (он в некоторых случаях объяснялся очень вежливо с своими подчиненными), – тебя никакой черт и не спрашивает о том, хочешь ли ты ехать или не хочешь. Я тебе скажу только то, что если ты еще будешь показывать свою рысь да мудрствовать, то прикажу тебя по спине и по прочему так отстегать молодым березняком, что и в баню не нужно

будет ходить.

Философ, почесывая слегка за ухом, вышел, не говоря ни слова, располагая при первом удобном случае возложить надежду на свои ноги. В раздумье сходил он с крутой лестницы, приводившей на двор, обсаженный тополями, и на минуту остановился, услышавши довольно явственно голос ректора, дававшего приказания своему ключнику и еще кому-то, вероятно, одному из посланных за ним от сотника.

– Благодарю пана за крупу и яйца, – говорил ректор, – и скажи, что как только будут готовы те книги, о которых он пишет, то я тотчас пришлю. Я отдал их уже переписывать писцу. Да не забудь, мой голубе, прибавить пану, что на хуторе у них, я знаю, водится хорошая рыба, и особенно осетрина, то при случае прислал бы: здесь на базарах и нехороша и дорога. А ты, Явтух[91], дай молодцам по чарке горелки. Да философа привязать, а не то как раз удерет.

«Вишь, чертов сын! – подумал про себя философ, – пронюхал, длинноногий вьюн!»

Он сошел вниз и увидел кибитку, которую

принял было сначала за хлебный овин[92] на колесах. В самом деле, она была так же глубока, как печь, в которой обжигают кирпичи. Это был обыкновенный краковский экипаж, в каком жида полсотнею отправляются вместе с товарами во все города, где только слышит их нос ярмарку. Его ожидало человек шесть здоровых и крепких козаков, уже несколько пожилых. Свитки[93] из тонкого сукна с кистями показывали, что они принадлежали довольно значительному и богатому владельцу. Небольшие рубцы говорили, что они бывали когда-то на войне не без славы.

«Что ж делать? Чему быть, тому не миновать!» – подумал про себя философ и, обратившись к козакам, произнес громко:

– Здравствуйте, братья-товарищи!

– Будь здоров, пан философ! – отвечали некоторые из козаков.

– Так вот это мне приходится сидеть вместе с вами?

А брика[94] знатная! – продолжал он, влезая. – Тут бы только нанять музыкантов, то и танцевать можно.

– Да, соразмерный экипаж! – сказал один

из козаков, сядясь на облучок сам-друг с кучером, завязавшим голову тряпицею вместо шапки, которую он успел оставить в шинке. Другие пять вместе с философом полезли в углубление и расположились на мешках, наполненных разною закупкою, сделанною в городе.

– Любопытно бы знать, – сказал философ, – если бы, примером, эту брику нагрузить каким-нибудь товаром – положим, солью или железными клинами: сколько потребовалось бы тогда коней?

– Да, – сказал, помолчав, сидевший на облучке козак, – достаточное бы число потребовалось коней.

После такого удовлетворительного ответа козак почитал себя вправе молчать во всю дорогу.

Философу чрезвычайно хотелось узнать обстоятельнее: кто таков был этот сотник, каков его нрав, что слышно о его дочке, которая таким необыкновенным образом возвратилась домой и находилась при смерти и которой история связалась теперь с его собственною, как у них и что делается в доме? Он об-

ращался к ним с вопросами; но козаки, верно, были тоже философы, потому что в ответ на это молчали и курили люльки, лежа на мешках. Один только из них обратился к сидевшему на козлах вознице с коротеньким приказанием: «Смотри, Оверко[95], ты старый разиня; как будешь подъезжать к шинку, что на Чухрайловской дороге, то не забудь остановиться и разбудить меня и других молодцов, если кому случится заснуть». После этого он заснул довольно громко. Впрочем, эти наставления были совершенно напрасны, потому что едва только приблизилась исполинская брика к шинку на Чухрайловской дороге, как все в один голос закричали: «Стой!» Притом лошади Оверка были так уже приучены, что останавливались сами перед каждым шинком. Несмотря на жаркий июльский день, все вышли из брики, отправились в низенькую запачканную комнату, где жид-корчмарь с знаками радости бросился принимать своих старых знакомых. Жид принес под полою несколько колбас из свинины и, положивши на стол, тотчас отворотился от этого запрещенного талмудом[96] плода. Все уселись во-

круг стола. Глиняные кружки показались пред каждым из гостей. Философ Хома должен был участвовать в общей пирушке. И так как малороссияне, когда подгуляют, непременно начнут целоваться или плакать, то скоро вся изба наполнилась лобызаниями: «А ну, Спирид[97], почеломкаемся!» – «Иди сюда, Дорош[98], я обниму тебя!»



Один козак, бывший постарее всех других, с седыми усами, подставивши руку под щеку, начал рыдать от души о том, что у него нет ни отца, ни матери и что он остался одним-один на свете. Другой был большой резонер[99] и беспрестанно утешал его, говоря: «Не плачь, ей-богу не плачь! что ж тут... уж Бог знает как и что такое». Один, по имени Дорош, сделался чрезвычайно любопытен и,

оборотившись к философу Хоме, беспрестанно спрашивал его:

– Я хотел бы знать, чему у вас в бурсе учат: тому ли самому, что и дьяк читает в церкви, или чему другому?

– Не спрашивай! – говорил протяжно резонер, – пусть его там будет, как было. Бог уже знает, как нужно; Бог все знает.

– Нет, я хочу знать, – говорил Дорош, – что там написано в тех книжках. Может быть, совсем другое, чем у дьяка.

– О, боже мой, боже мой! – говорил этот почтенный наставник. – И на что такое говорить? Так уж воля Божия положила. Уже что Бог дал, того не можно переменить.

– Я хочу знать все, что ни написано. Я пойду в бурсу, ей-богу, пойду! Что ты думаешь, я не выучусь? Всему выучусь, всему!

– О, боже ж мой, боже мой!.. – говорил утешитель и спустил свою голову на стол, потому что совершенно был не в силах держать ее долее на плечах.

Прочие козаки толковали о панах и о том, отчего на небе светит месяц.

Философ Хома, увидя такое расположение

голов, решил воспользоваться и улизнуть. Он сначала обратился к седовласому козаку, грустившему об отце и матери:

– Что ж ты, дядько, расплакался, – сказал он, – я сам сирота! Отпустите меня, ребята, на волю! На что я вам!

– Пустим его на волю! – отозвались некоторые. – Ведь он сирота. Пусть себе идет куда хочет.

– О, боже ж мой, боже мой! – произнес утешитель, подняв свою голову. – Отпустите его! Пусть идет себе!

И козаки уже хотели сами вывести его в чистое поле, но тот который показал свое любопытство, остановил их, сказавши:

– Не трогайте: я хочу с ним поговорить о бурсе. Я сам пойду в бурсу...

Впрочем, вряд ли бы этот побег мог совершиться, потому что когда философ вздумал подняться из-за стола, то ноги его сделались как будто деревянными и дверей в комнате начало представляться ему такое множество, что вряд ли бы он отыскал настоящую.

Только ввечеру вся эта компания вспомнила, что нужно отправляться далее в дорогу.

Взмостившись в брику, они потянулись, погоня лошадей и напевая песню, которой слова и смысл вряд ли бы кто разобрал. Проколевши большую половину ночи, беспрестанно сбиваясь с дороги, выученной наизусть, они наконец спустились с крутой горы в долину, и философ заметил по сторонам тянувшийся частокол, или плетень, с низенькими деревьями и выказывавшимися из-за них крышами. Это было большое селение, принадлежавшее сотнику. Уже было далеко за полночь; небеса были темны, и маленькие звездочки мелькали кое-где. Ни в одной хате не видно было огня. Они въехали, в сопровождении собачьего лая, на двор. С обеих сторон были заметны крытые соломой сараи и домики. Один из них, находившийся как раз посередине против ворот, был более других и служил, как казалось, пребыванием сотника. Брига остановилась перед небольшим подобием сарая, и путешественники наши отправились спать. Философ хотел, однако же, несколько обсмотреть снаружи панские хоромы; но как он ни пялил свои глаза, ничто не могло означиться в ясном виде: вместо дома

представлялся ему медведь; из трубы делался ректор. Философ махнул рукою и пошел спать.

Когда проснулся философ, то весь дом был в движении: в ночь умерла панночка. Слуги бегали впопыхах взад и вперед. Старухи некоторые плакали. Толпа любопытных глядела сквозь забор на панский двор, как будто бы могла что-нибудь увидеть.

Философ начал на досуге осматривать те места, которые он не мог разглядеть ночью. Панский дом был низенькое небольшое строение, какие обыкновенно строились в старину в Малороссии. Он был покрыт соломою. Маленький, острый и высокий фронтон с окошком, похожим на поднятый кверху глаз, был весь измалеван голубыми и желтыми цветами и красными полумесяцами. Он был утвержден на дубовых столбиках, до половины круглых и снизу шестигранных, с вычурною обточкою вверху. Под этим фронтоном находилось небольшое крылечко со скамейками по обеим сторонам. С боков дома были навесы на таких же столбиках, инде[100] витых. Высокая груша с пирамидальною вер-

хушкой и трепещущими листьями зеленела перед домом. Несколько амбаров в два ряда стояли среди двора, образуя род широкой улицы, ведущей к дому. За амбарами, к самым воротам, стояли треугольниками два погреба, один напротив другого, крытые также соломою. Треугольная стена каждого из них была снабжена низенькою дверью и размалевана разными изображениями. На одной из них нарисован был сидящий на бочке козак, державший над головою кружку с надписью: «Все выпью». На другой фляжка, сулей[101] и по сторонам, для красоты, лошадь, стоявшая вверх ногами, трубка, бубны и надпись: «Вино – козацкая потеха». Из чердака одного из сараев выглядывал сквозь огромное слуховое окно барабан и медные трубы. У ворот стояли две пушки. Все показывало, что хозяин дома любил повеселиться и двор часто оглашали пиршественные клики. За воротами находились две ветряные мельницы. Позади дома шли сады; и сквозь верхушки деревьев видны были одни только темные шляпки труб, скрывавшихся в зеленой гуще хат. Все селение помещалось на широком и ровном усту-

пе горы. С северной стороны все заслоняла крутая гора и подошвою своею оканчивалась у самого двора. При взгляде на нее снизу она казалась еще круче, и на высокой верхушке ее торчали кое-где неправильные стебли тощого бурьяна и чернели на светлом небе. Обнаженный глинистый вид ее навевал какое-то уныние. Она была вся изрыта дождевыми промоинами и проточинами. На крутом косогоре ее в двух местах торчали две хаты; над одною из них раскидывала ветви широкая яблоня, подпертая у корня небольшими кольями с насыпною землей. Яблоки, сбиваемые ветром, скатывались в самый панский двор. С вершины вилась по всей горе дорога и, опустившись, шла мимо двора в селенье. Когда философ измерил страшную круть ее и вспомнил вчерашнее путешествие, то решил, что или у пана были слишком умные лошади, или у козаков слишком крепкие головы, когда и в хмельном чаду умели не полететь вверх ногами вместе с неизмеримой брикою и багажом. Философ стоял на высшем в дворе месте, и когда оборотился и глянул в противоположную сторону, ему представился совер-

шенно другой вид. Селение вместе с отлого-стью скатывалось на равнину. Необозримые луга открывались на далекое пространство; яркая зелень их темнела по мере отдаления, и целые ряды селений синели вдали, хотя расстояние их было более нежели на двадцать верст. С правой стороны этих лугов тянулись горы, и чуть заметно вдали полосой горел и темнел Днепр.

– Эх, славное место! – сказал философ. – Вот тут бы жить, ловить рыбу в Днепре и в прудах, охотиться с тенетами[102] или с ружьем с стрепетами и крольшнепами[103]! Впрочем, я думаю, и дроф немало в этих лугах. Фруктов же можно засушить и продать в город множество или, еще лучше, выкурить из них водку; потому что водка из фруктов ни с каким пенником[104] не сравнится. Да не мешает подумать и о том, как бы улизнуть отсюда.

Он заметил за плетнем маленькую дорожку, совершенно закрытую разросшимся бурьяном. Он поставил машинально на нее ногу, думая наперед только прогуляться, а потом тихомолком, промеж хат, да и махнуть в поле, как внезапно почувствовал на своем

плече довольно крепкую руку.

Позади его стоял тот самый старый козак, который вчера так горько соболезновал о смерти отца и матери и о своем одиночестве.

– Напрасно ты думаешь, пан философ, улететь из хутора! – говорил он. – Тут не такое заведение, чтобы можно было убежать; да и дороги для пешехода плохи. А ступай лучше к пану: он ожидает тебя давно в светлице.

– Пойдем! Что ж... Я с удовольствием, – сказал философ и отправился вслед за козаком.

Сотник, уже престарелый, с седыми усами и с выражением мрачной грусти, сидел перед столом в светлице, подперши обеими руками голову. Ему было около пятидесяти лет; но глубокое уныние на лице и какой-то бледно-тощий цвет показывали, что душа его была убита и разрушена вдруг, в одну минуту, и вся прежняя веселость и шумная жизнь исчезла навеки. Когда вошел Хома вместе с старым козаком, он отнял одну руку и слегка кивнул головою на низкий их поклон.

Хома и козак почтительно остановились у дверей.

– Кто ты, и откуда, и какого звания, доб-

рый человек? – сказал сотник ни ласково, ни сурово.

– Из бурсаков, философ Хома Брут.

– А кто был твой отец?

– Не знаю, вельможный пан.

– А мать твоя?

– И матери не знаю. По здравому рассуждению, конечно, была мать; но кто она, и откуда, и когда жила – ей-богу, добродию[105], не знаю.

Сотник помолчал и, казалось, минуту оставался в задумчивости.

– Как же ты познакомился с моею дочкою?

– Не знакомился, вельможный пан, ей-богу, не знакомился. Еще никакого дела с панночками не имел, сколько ни живу на свете. Цур им[106], чтобы не сказать непристойного.

– Отчего же она не другому кому, а тебе именно назначила читать?

Философ пожал плечами:

– Бог его знает, как это растолковать. Известное уже дело, что панам подчас захочется такого, чего и самый наиграмотнейший человек не разберет; и пословица говорит: «Скачи, враже, як пан каже!»[107]

– Да не врешь ли ты, пан философ?

– Вот на этом месте пусть громом так и хлопнет, если лгу.

– Если бы только минуточкой долее прожила ты, – грустно сказал сотник, – то, верно бы, я узнал все. «Никому не давай читать по мне, но пошли, тату, сей же час в Киевскую семинарию и привези бурсака Хому Брута. Пусть три ночи молится по грешной душе моей. Он знает...» А что такое знает, я уже не услышал. Она, голубонька, только и могла сказать, и умерла. Ты, добрый человек, верно, известен святою жизнью своею и богоугодными делами, и она, может быть, наслышалась о тебе.

– Кто? я? – сказал бурсак, отступивши от изумления. – Я святой жизни? – произнес он, посмотрев прямо в глаза сотнику. – Бог с вами, пан! Что вы это говорите! да я, хоть оно непристойно сказать, ходил к булочнице против самого страстного четверга[108].

– Ну... верно, уже недаром так назначено. Ты должен с сего же дня начать свое дело.

– Я бы сказал на это вашей милости... оно, конечно, всякий человек, вразумленный Свя-

тому Писанию, может по соразмерности... только сюда приличнее бы требовалось дьякона[109] или, по крайней мере, дьяка. Они народ толковый и знают, как все это уже делается; а я... Да у меня и голос не такой, и сам я – черт знает что. Никакого виду с меня нет.

– Уж как ты себе хочешь, только я все, что завещала мне моя голубка, исполню, ничего не пожалея. И когда ты с сего дня три ночи совершишь, как следует, над нею молитвы, то я награжу тебя; а не то – и самому черту не советую рассердить меня.

Последние слова произнесены были сотником так крепко, что философ понял вполне их значение.

– Ступай за мною! – сказал сотник.

Они вышли в сени. Сотник отворил дверь в другую светлицу, бывшую насупротив первой. Философ остановился на минуту в сенях высморкаться и с каким-то безотчетным страхом переступил через порог. Весь пол был устлан красною китайкой[110]. В углу, под образами, на высоком столе лежало тело умершей, на одеяле из синего бархата, убранном золотою бахромою и кистями. Высокие воско-

вые свечи, увитые калиною[111], стояли в ногах и в головах, изливая свой мутный, терявшийся в дневном сиянии свет. Лицо умершей было заслонено от него неутешным отцом, который сидел перед нею, обращенный спиной к дверям. Философа поразили слова, которые он услышал:

– Я не о том жалею, моя наимилейшая мне дочь, что ты во цвете лет своих, не дожив положенного века, на печаль и горесть мне, оставила землю. Я о том жалею, моя голубонька, что не знаю того, кто был, лютей враг мой, причиною твоей смерти. И если бы я знал, кто мог подумать только оскорбить тебя или хоть бы сказал что-нибудь неприятное о тебе, то, клянусь Богом, не увидел бы он больше своих детей, если только он так же стар, как и я; ни своего отца и матери, если только он еще на поре лет, и тело его было бы выброшено на съедение птицам и зверям степным. Но горе мне, моя полевая нагидочка[112], моя перепеличка, моя ясочка[113], что проживу я остальной век свой без потехи, утирая полою drobные слезы[114], текущие из старых очей моих, тогда как враг мой будет веселиться и

втайне посмеиваться над хилым старцем...

Он остановился, и причиной этого была разрывающая горесть, разрешившаяся целым потоком слез.



Философ был тронут такою безутешной печалью. Он закашлял и издал глухое крехтание, желая очистить им немного свой голос.

Сотник оборотился и указал ему место в головах умершей, перед небольшим наемом [115], на котором лежали книги.

«Три ночи как-нибудь отработаю, – подумал философ, – зато пан набьет мне оба кармана чистыми червонцами».

Он приблизился и, еще раз откашлявшись,

принялся читать, не обращая никакого внимания на сторону и не решаясь взглянуть в лицо умершей. Глубокая тишина воцарилась. Он заметил, что сотник вышел. Медленно поворотил он голову, чтобы взглянуть на умершую и...

Трепет пробежал по его жилам: пред ним лежала красавица, какая когда-либо бывала на земле. Казалось, никогда еще черты лица не были образованы в такой резкой и вместе гармонической красоте. Она лежала как живая. Чело, прекрасное, нежное, как снег, как серебро, казалось, мыслило; брови – ночь среди солнечного дня, тонкие, ровные, горделиво приподнялись над закрытыми глазами, а ресницы, упавшие стрелами на щеки, пылавшие жаром тайных желаний; уста – рубины, готовые усмехнуться... Но в них же, в тех же самых чертах, он видел что-то страшно пронзительное. Он чувствовал, что душа его начинала как-то болезненно ныть, как будто бы вдруг среди вихря веселья и закружившейся толпы запел кто-нибудь песню об угнетенном народе[116]. Рубины уст ее, казалось, прикипали кровию к самому сердцу. Вдруг что-то

страшно знакомое показалось в лице ее.

– Ведьма! – вскрикнул он не своим голосом, отвел глаза в сторону, побледнел весь и стал читать свои молитвы.

Это была та самая ведьма, которую убил он.

Когда солнце стало садиться, мертвую понесли в церковь. Философ одним плечом своим поддерживал черный траурный гроб и чувствовал на плече своем что-то холодное, как лед. Сотник сам шел впереди, неся рукою правую сторону тесного дома умершей. Церковь деревянная, почерневшая, убранный зеленым мохом, с тремя конусообразными куполами, уныло стояла почти на краю села. Заметно было, что в ней давно уже не отправлялось никакого служения. Свечи были зажжены почти перед каждым образом. Гроб поставили посередине, против самого алтаря. Старый сотник поцеловал еще раз умершую, повергнулся ниц и вышел вместе с носильщиками вон, дав повеление хорошенько накормить философа и после ужина проводить его в церковь. Пришедши в кухню, все несшие гроб начали прикладывать руки к печке, что

обыкновенно делают малороссияне, увидевши мертвеца.

Голод, который в это время начал чувствовать философ, заставил его на несколько минут позабыть вовсе об умершей. Скоро вся дворня мало-помалу начала сходиться в кухню. Кухня в сотниковом доме была что-то похожее на клуб, куда стекалось все, что ни обитало во дворе, считая в это число и собак, приходивших с машущими хвостами к самым дверям за костями и помоями. Куда бы кто ни был посылаем и по какой бы то ни было надобности, он всегда прежде заходил на кухню, чтобы отдохнуть хоть минуту на лавке и выкурить люльку. Все холостяки, жившие в доме, щеголявшие в козацких свитках, лежали здесь почти целый день на лавке, под лавкою, на печке – одним словом, где только можно было сыскать удобное место для лежанья. Притом всякий вечно позабывал в кухне или шапку, или кнут для чужих собак, или что-нибудь подобное. Но самое многочисленное собрание бывало во время ужина, когда приходил и табунщик, успевший загнать своих лошадей в загон, и погонщик, приводивший

коров для дойки, и все те, которых в течение дня нельзя было увидеть. За ужином болтовня овладевала самыми неговорливыми языками. Тут обыкновенно говорилось обо всем: и о том, кто пошил себе новые шаровары, и что находится внутри земли, и кто видел волка. Тут было множество бонмотистов[117], в которых между малороссиянами нет недостатка. Философ уселся вместе с другими в обширный кружок на вольном воздухе перед порогом кухни. Скоро баба в красном очипке высунулась из дверей, держа в обеих руках горячий горшок с галушками, и поставила его посреди готовившихся ужинать. Каждый вынул из кармана своего деревянную ложку, иные, за неимением, деревянную спичку[118]. Как только уста стали двигаться немного медленнее и волчий голод всего этого собрания немного утишился, многие начали разговаривать. Разговор, натурально, должен был обратиться к умершей.

– Правда ли, – сказал один молодой овчар [119], который насадил на свою кожаную перевязь для люльки столько пуговиц и медных блях, что был похож на лавку мелкой торгов-

ки, – правда ли, что панночка, не тем будь помянута, зналась с нечистым?

– Кто? панночка? – сказал Дорош, уже знакомый прежде нашему философу. – Да она была целая ведьма! Я присягну, что ведьма!

– Полно, полно, Дорош! – сказал другой, который во время дороги изъяслял большую готовность утешать. – Это не наше дело; Бог с ним. Нечего об этом толковать.

Но Дорош вовсе не был расположен молчать. Он только что перед тем сходил в погреб вместе с ключником по какому-то нужному делу и, наклонившись раза два к двум или трем бочкам, вышел оттуда чрезвычайно веселый и говорил без умолку.

– Что ты хочешь? Чтобы я молчал? – сказал он. – Да она на мне самом ездила! Ей-богу, ездила!

– А что, дядько, – сказал молодой овчар с пуговицами, – можно ли узнать по каким-нибудь приметам ведьму?

– Нельзя, – отвечал Дорош. – Никак не узнаешь; хоть все Псалтыри[120] перечитай, то не узнаешь.

– Можно, можно, Дорош. Не говори этого, –

произнес прежний утешитель. – Уже Бог недаром дал всякому особый обычай. Люди, знающие науку, говорят, что у ведьмы есть маленький хвостик.

– Когда стара баба, то и ведьма, – сказал хладнокровно седой козак.

– О, уж хороши и вы! – подхватила баба, которая подливала в то время свежих галушек в очистившийся горшок, – настоящие толстые кабаны.

Старый козак, которого имя было Явтух, а прозвание Ковтун[121], выразил на губах своих улыбку удовольствия, заметив, что слова его задели за живое старуху; а погонщик скотины пустил такой густой смех, как будто бы два быка, ставши один против другого, замычали разом.

Начавшийся разговор возбудил непреодолимое желание и любопытство философа узнать обстоятельнее про умершую сотникову дочь. И потому, желая опять навести его на прежнюю материю, обратился к соседу своему с такими словами:

– Я хотел спросить, почему все это сословие, что сидит за ужином, считает панночку

ведьмою? Что ж, разве она кому-нибудь причинила зло или извела кого-нибудь?

– Было всякого, – отвечал один из сидевших, с лицом гладким, чрезвычайно похожим на лопату.

– А кто не припомнит псаря Микиту, или того...

– А что ж такое псарь Микита? – сказал философ.

– Стой! я расскажу про псаря Микиту, – сказал Дорош.

– Я расскажу про Микиту, – отвечал табунщик, – потому что он был мой кум.

– Я расскажу про Микиту, – сказал Спирид.

– Пускай, пускай Спирид расскажет! – закричала толпа.

Спирид начал:

– Ты, пан философ Хома, не знал Микиты. Эх, какой редкий был человек! Собаку каждую он, бывало, так знает, как родного отца. Теперешний псарь Микола, что сидит третьим за мною, и в подметки ему не годится. Хотя он тоже разумеет свое дело, но он против него – дрянь, помой.

– Ты хорошо рассказываешь, хорошо! – ска-

зал Дорош, одобрительно кивнув головою.

Спирид продолжал:

– Зайца увидит скорее, чем табак утрешь из носу. Бывало, свистнет: «А ну, Разбой! а ну, Быстрая!» – а сам на коне во всю прыть, – и уже рассказать нельзя, кто кого скорее обгонит: он ли собаку или собака его. Сивухи[122] кварту свиснет вдруг, как бы не бывало. Славный был псарь! Только с недавнего времени начал он заглядываться беспрестанно на панночку. Вклепался ли он точно в нее, или уже она так его околдовала, только пропал человек, обабился совсем; сделался черт знает что; пфу! непристойно и сказать.

– Хорошо, – сказал Дорош.

– Как только панночка, бывало, взглянет на него, то и повода из рук пускает, Разбоя зовет Бровком, спотыкается и невесть что делает. Один раз панночка пришла на конюшню, где он чистил коня. Дай, говорит, Микитка, я положу на тебя свою ножку. А он, дурень, и рад тому: говорит, что не только ножку, но и сама садись на меня. Панночка подняла свою ножку, и как увидел он ее нагую, полную и белую ножку, то, говорит, чара так и ошело-

мила его. Он, дурень, нагнул спину и, схвативши обеими руками за нагие ее ножки, пошел скакать, как конь, по всему полю, и куда они ездили, он ничего не мог сказать; только воротился едва живой и с той поры иссохнул весь, как щепка; и когда раз пришли на конюшню, то вместо его лежала только куча золы да пустое ведро: сторел совсем, сторел сам собою. А такой был псарь, какого на всем свете не можно найти.

Когда Спирид окончил рассказ свой, со всех сторон пошли толки о достоинствах бывшего пса.

– А про Шепчиху ты не слышал? – сказал Дорош, обращаясь к Хоме.

– Нет.

– Эге-ге-ге! Так у вас, в бурсе, видно, не слишком большому разуму учат. Ну, слушай! У нас есть на селе козак Шептун[123]. Хороший козак! Он любит иногда украсть и соврять без всякой нужды, но... хороший козак. Его хата не так далеко отсюда. В такую самую пору, как мы теперь сели вечерять, Шептун с жинкою, окончивши вечерю, легли спать, а так как время было хорошее, то Шепчиха лег-

ла на дворе, а Шептун в хате на лавке; или нет: Шепчиха в хате на лавке, а Шептун на дворе...

– И не на лавке, а на полу легла Шепчиха, – подхватила баба, стоя у порога и подперши рукою щеку.

Дорош поглядел на нее, потом поглядел вниз, потом опять на нее и, немного помолчав, сказал:

– Когда скину с тебя при всех исподницу, то нехорошо будет.

Это предостережение имело свое действие. Старуха замолчала и уже ни разу не перебила речи.

Дорош продолжал:

– А в люльке, висевшей среди хаты, лежало годовое дитя – не знаю, мужского или женского пола. Шепчиха лежала, а потом слышит, что за дверью скребется собака и воет так, хоть из хаты беги. Она испугалась; ибо бабы такой глупый народ, что высунь ей под вечер из-за дверей язык, то и душа войдет в пятки. Однако ж думает, дай-ка я ударю по морде проклятую собаку, авось-либо перестанет выть, – и, взявши кочергу, вышла отво-

ритель дверь. Не успела она немного отворить, как собака кинулась промеж ног ее и прямо к детской люльке. Шепчиха видит, что это уже не собака, а панночка. Да притом пускай бы уже панночка в таком виде, как она ее знала, – это бы еще ничего; но вот вещь и обстоятельство: что она была вся синяя, а глаза горели, как уголь. Она схватила дитя, прокусила ему горло и начала пить из него кровь. Шепчиха только закричала: «Ох, лишечко![124]» – да из хаты. Только видит, что в сенях двери заперты. Она на чердак; сидит и дрожит, глупая баба, а потом видит, что панночка к ней идет и на чердак; кинулась на нее и начала глупую бабу кусать. Уже Шептун поутру вытащил оттуда свою жинку, всю искусанную и посиневшую. А на другой день и умерла глупая баба. Так вот какие устройства и обольщения бывают! Оно хоть и панского поместью, да все когда ведьма, то ведьма.

После такого рассказа Дорош самодовольно оглянулся и засунул палец в свою трубку, приготавливая ее к набивке табаком. Материя о ведьме сделалась неисчерпаемою. Каждый, в свою очередь, спешил что-нибудь рассказать.

К тому ведьма в виде скирды сена приехала к самым дверям хаты; у другого украла шапку или трубку; у многих девок на селе отрезала косу; у других выпила по нескольку ведер крови.

Наконец вся компания опомнилась и увидела, что заболталась уже чересчур, потому что уже на дворе была совершенная ночь. Все начали разбродиться по ночлегам, находившимся или на кухне, или в сараях, или среди двора.

– А ну, пан Хома! теперь и нам пора идти к покойнице, – сказал седой козак, обратившись к философу, и все четверо, в том числе Спирид и Дорош, отправились в церковь, стегая кнутами собак, которых на улице было великое множество и которые со злости грызли их палки.

Философ, несмотря на то что успел подкрепить себя доброю кружкою горелки, чувствовал втайне подступавшую робость по мере того, как они приближались к освещенной церкви. Рассказы и странные истории, слышанные им, помогали еще более действовать его воображению. Мрак под тыном и деревья-

ми начинал редеть; место становилось обнаженнее. Они вступили наконец за ветхую церковную ограду в небольшой дворик, за которым не было ни деревца и открывалось одно пустое поле да поглощенные ночным мраком луга. Три козака взошли вместе с Хомою по крутой лестнице на крыльцо и вступили в церковь. Здесь они оставили философа, пожелав ему благополучно отправить свою обязанность, и заперли за ним дверь, по приказанию пана.

Философ остался один. Сначала он зевнул, потом потянулся, потом фукнул в обе руки и наконец уже обсмотрелся. Посредине стоял черный гроб. Свечи теплились пред темными образами. Свет от них освещал только иконостас и слегка середину церкви. Отдаленные углы притвора[125] были закутаны мраком. Высокий старинный иконостас уже показывал глубокую ветхость; сквозная резьба его, покрытая золотом, еще блестела одними только искрами. Позолота в одном месте опала, в другом вовсе почернела; лики святых, совершенно потемневшие, глядели как-то мрачно. Философ еще раз обсмотрелся.

– Что ж, – сказал он, – чего тут бояться? Человек прийти сюда не может, а от мертвецов и выходцев из того света есть у меня молитвы такие, что как прочитаю, то они меня и пальцем не тронут. Ничего! – повторил он, махнув рукою, – будем читать!

Подходя к крылосу, увидел он несколько связок свечей.

«Это хорошо, – подумал философ, – нужно осветить всю церковь так, чтобы видно было, как днем. Эх, жаль, что во храме Божиим не можно люльки выкурить!»

И он принялся прилепливать восковые свечи ко всем карнизам, наляям и образам, не жалея их нисколько, и скоро вся церковь наполнилась светом. Вверху только мрак сделался как будто сильнее, и мрачные образа глядели угрюмей из старинных резных рам, кое-где сверкавших позолотой. Он подошел ко гробу, с робостию посмотрел в лицо умершей и не мог не зажмурить, несколько вздрогнувши, своих глаз.

Такая страшная, сверкающая красота!

Он отворотился и хотел отойти; но по странному любопытству, по странному попе-

речивающему себе чувству, не оставляющему человека особенно во время страха, он не утерпел, уходя, не взглянуть на нее и потом, ощутивши тот же трепет, взглянул еще раз. В самом деле, резкая красота усопшей казалась страшною. Может быть, даже она не поразила бы таким паническим ужасом, если бы была несколько безобразнее. Но в ее чертах ничего не было тусклого, мутного, умершего. Оно было живо, и философу казалось, как будто бы она глядит на него закрытыми глазами. Ему даже показалось, как будто из-под ресницы правого глаза ее покатилась слеза, и когда она остановилась на щеке, то он различил ясно, что это была капля крови.

Он поспешно отошел к крылосу, развернул книгу и, чтобы более ободрить себя, начал читать самым громким голосом. Голос его поразил церковные деревянные стены, давно молчаливые и оглохлые. Одинокое, без эха, сыпался он густым басом в совершенно мертвой тишине и казался несколько диким даже самому чтецу.

«Чего бояться? – думал он между тем сам про себя. – Ведь она не встанет из своего гро-

ба, потому что побоится Божьего слова. Пусть лежит! Да и что я за козак, когда бы утрашился? Ну, выпил лишнее – оттого и показывается страшно. А понюхать табаку: эх, добрый табак! Славный табак! Хороший табак!»

Однако же, перелистывая каждую страницу, он посматривал искоса на гроб, и невольное чувство, казалось, шептало ему: «Вот, вот встанет! вот поднимется, вот выглянет из гроба!»

Но тишина была мертвая. Гроб стоял неподвижно. Свечи лили целый потоп света. Страшна освещенная церковь ночью, с мертвым телом и без души людей!

Возвыся голос, он начал петь на разные голоса, желая заглушить остатки боязни. Но через каждую минуту обращал глаза свои на гроб, как будто бы задавая невольный вопрос: «Что, если подыметя, если встанет она?»

Но гроб не шелохнулся. Хоть бы какой-нибудь звук, какое-нибудь живое существо, даже сверчок отозвался в углу! Чуть только слышался легкий треск какой-нибудь отдаленной свечки или слабый, слегка хлопнувший звук восковой капли, падавшей на пол. «Ну,

если подыметесь?..»

Она приподняла голову...

Он дико взглянул и протер глаза. Но она точно уже не лежит, а сидит в своем гробе. Он отвел глаза свои и опять с ужасом обратил на гроб. Она встала... идет по церкви с закрытыми глазами, беспрестанно расправляя руки, как бы желая поймать кого-нибудь. Она идет прямо к нему. В страхе очертил он около себя круг. С усилием начал читать молитвы и произносить заклинания, которым научил его один монах, видевший всю жизнь свою ведьм и нечистых духов.

Она стала почти на самой черте; но видно было, что не имела сил переступить ее, и вся посинела, как человек, уже несколько дней умерший. Хома не имел духа взглянуть на нее. Она была страшна. Она ударила зубами в зубы и открыла мертвые глаза свои. Но, не видя ничего, с бешенством – что выразило ее задрожавшее лицо – обратилась в другую сторону и, распростерши руки, обхватывала ими каждый столп и угол, стараясь поймать Хому. Наконец остановилась, погрозив пальцем, и легла в свой гроб.

Философ все еще не мог прийти в себя и со страхом поглядывал на это тесное жилище ведьмы. Наконец гроб вдруг сорвался с своего места и со свистом начал летать по всей церкви, крестя во всех направлениях воздух. Философ видел его почти над головою, но вместе с тем видел, что он не мог зацепить круга, очерченного, и усилил свои заклинания. Гроб грянулся на середине церкви и остался неподвижным. Труп опять поднялся из него, синий, позеленевший. Но в то время послышался отдаленный крик петуха. Труп опустился в гроб и захлопнулся гробовою крышкой.



Сердце у философа билось, и пот катился градом; но, ободренный петушьим криком, он дочитывал быстрее листы, которые должен был прочесть прежде. При первой заре пришли сменить его дьячок и седой Явтух, который на тот раз отправлял должность церковного старосты.

Пришедши на отдаленный ночлег, философ долго не мог заснуть, но усталость одоле-ла, и он проспал до обеда. Когда он проснулся, все ночное событие казалось ему происходившим во сне. Ему дали для подкрепления сил кварту горелки. За обедом он скоро развязался, присовокупил кое к чему замечания и съел почти один довольно старого поросенка; но, однако же, о своем событии в церкви он не решался говорить по какому-то безотчетному для него самому чувству и на вопросы любопытных отвечал: «Да, были всякие чудеса». Философ был одним из числа тех людей, которых если накормят, то у них пробуждается необыкновенная филантропия. Он, лежа с своей трубкой в зубах, глядел на всех необыкновенно сладкими глазами и непрерывно поплеывал в сторону.

После обеда философ был совершенно в духе. Он успел обходить все селение, перезнакомиться почти со всеми; из двух хат его даже выгнали; одна смазливая молодкахватила его порядочно лопатой по спине, когда он вздумал было пощупать и полюбопытствовать, из какой материи у нее была сорочка и плахта[126]. Но чем более время близилось к вечеру, тем задумчивее становился философ. За час до ужина вся почти дворня собиралась играть в кашу или в крагли[127] – род кеглей, где вместо шаров употребляются длинные палки, и выигравший имел право проезжаться на другом верхом. Эта игра становилась очень интересною для зрителей: часто погонщик, широкий, как блин, взлезал верхом на свиного пастуха, тщедушного, низенького, всего состоявшего из морщин. В другой раз погонщик подставлял свою спину, и Дорош, вскочивши на нее, всегда говорил: «Экой здоровый бык!» У порога кухни сидели те, которые были посолиднее. Они глядели чрезвычайно сурьезно, куря люльки, даже и тогда, когда молодежь от души смеялась какому-нибудь острому слову погонщика или Спирида.

Хома напрасно старался вмешаться в эту игру: какая-то темная мысль, как гвоздь, сидела в его голове. За вечерей сколько ни старался он развеселить себя, но страх загорался в нем вместе с тьмою, распростиравшеюся по небу.

– А ну, пора нам, пан бурсак! – сказал ему знакомый седой козак, подымаясь с места вместе с Дорошем. – Пойдем на работу.

Хому опять таким же самым образом отвели в церковь; опять оставили его одного и заперли за ним дверь. Как только он остался один, робость начала внедряться снова в его грудь. Он опять увидел темные образа, блестящие рамы и знакомый черный гроб, стоявший в угрожающей тишине и неподвижности среди церкви.

– Что же, – произнес он, – теперь ведь мне не в диковинку это диво. Оно с первого разу только страшно. Да! оно только с первого разу немного страшно, а там оно уже не страшно; оно уже совсем не страшно.

Он поспешно стал на крылос, очертил около себя круг, произнес несколько заклинаний и начал читать громко, решаясь не подымать с книги своих глаз и не обращать внимания

ни на что. Уже около часу читал он и начал несколько уставать и покашливать. Он вынул из кармана рожок[128] и, прежде нежели поднес табак к носу, робко повел глазами на гроб. Сердце его зохолонуло.

Труп уже стоял перед ним на самой черте и вперил на него мертвые, позеленевшие глаза. Бурсак содрогнулся, и холод чувствительно пробежал по всем его жилам. Потупив очи в книгу, стал он читать громче свои молитвы и заклятья и слышал, как труп опять ударил зубами и замахал руками, желая схватить его. Но, покосивши слегка одним глазом, увидел он, что труп не там ловил его, где стоял он, и, как видно, не мог видеть его. Глухо стала ворчать она и начала выговаривать мертвыми устами страшные слова; хрипло всхлипывали они, как клокотанье кипящей смолы. Что значили они, того не мог бы сказать он, но что-то страшное в них заключалось. Философ в страхе понял, что она творила заклинания.

Ветер пошел по церкви от слов, и слышался шум, как бы от множества летящих крыл. Он слышал, как бились крыльями в стекла церковных окон и в железные рамы,

как царапали с визгом когтями по железу и как несметная сила громила в двери и хотела вломиться. Сильно у него билось во все время сердце; зажмурив глаза, всё читал он заклятья и молитвы. Наконец вдруг что-то засвистало вдали: это был отдаленный крик петуха. Изнуренный философ остановился и отдохнул духом.

Вошедшие сменить философа нашли его едва жива. Он оперся спиною в стену и, выпучив глаза, глядел неподвижно на толкавших его козаков. Его почти вывели и должны были поддерживать во всю дорогу. Пришедши на панский двор, он встряхнулся и велел себе подать кварту горелки. Выпивши ее, он пригладил на голове своей волосы и сказал:

– Много на свете всякой дряни водится! А страхи такие случаются – ну... – При этом философ махнул рукою.

Собравшийся возле него кружок потупил голову, услышав такие слова. Даже небольшой мальчишка, которого вся дворня почитала вправе уполномочивать вместо себя, когда дело шло к тому, чтобы чистить конюшню или таскать воду, даже этот бедный маль-

чишка тоже разинул рот.

В это время проходила мимо еще не совсем пожилая бабенка в плотно обтянутой запаске [129], выказывавшей ее круглый и крепкий стан, помощница старой кухарки, кокетка страшная, которая всегда находила что-нибудь пришить к своему очипку: или кусок ленточки, или гвоздику, иди даже бумажку, если не было чего-нибудь другого.

– Здравствуй, Хома! – сказала она, увидев философа. – Ай-ай-ай! что это с тобою? – вскричала она, всплеснув руками.

– Как что, глупая баба?

– Ах, Боже мой! Да ты весь поседел!

– Эге-ге! Да она правду говорит! – произнес Спирид, всматриваясь в него пристально. – Ты точно поседел, как наш старый Явтух.

Философ, услышавши это, побежал опрометью в кухню, где он заметил прилепленный к стене, обпачканный мухами треугольный кусок зеркала, перед которым были натканы незабудки, барвинки [130] и даже гирлянда из нагидок, показывавшие назначение его для туалета щеголеватой кокетки. Он с ужасом увидел истину их слов: половина во-

лос его, точно, побелела.

Повесил голову Хома Брут и предался размышлению.

– Пойду к пану, – сказал он наконец, – расскажу ему все и объясню, что больше не хочу читать. Пусть отправляет меня сей же час в Киев.

В таких мыслях направил он путь свой к крыльцу панского дома.

Сотник сидел почти неподвижен в своей светлице; та же самая безнадежная печаль, какую он встретил прежде на его лице, сохранилась в нем и доньше. Щеки его опали только гораздо более прежнего. Заметно было, что он очень мало употреблял пищи или, может быть, даже вовсе не касался ее. Необыкновенная бледность придавала ему какую-то каменную неподвижность.

– Здравствуй, небоже[131], – произнес он, увидев Хому, остановившегося с шапкою в руках у дверей. – Что, как идет у тебя? Все благополучно?

– Благополучно-то благополучно. Такая чертовщина водится, что прямо бери шапку, да и улепетывай, куда ноги несут.

– Как так?

– Да ваша, пан, дочка... По здравому рассуждению, она, конечно, есть панского роду; в том никто не станет прекословить, только не во гнев будь сказано, успокой Бог ее душу...

– Что же дочка?

– Припустила к себе сатану. Такие страхи задает, что никакое Писание не учитывается.

– Читай, читай! Она недаром призвала тебя. Она заботилась, голубонька моя, о душе своей и хотела молитвами изгнать всякое дурное помышление.

– Власть ваша, пан: ей-богу, не вмоготу!

– Читай, читай! – продолжал тем же увещательным голосом сотник. – Тебе одна ночь теперь осталась. Ты сделаешь христианское дело, и я награжу тебя.

– Да какие бы ни были награды... Как ты себе хочь, пан, а я не буду читать! – произнес Хома решительно.

– Слушай, философ! – сказал сотник, и голос его сделался крепок и грозен, – я не люблю этих выдумок. Ты можешь это делать в вашей бурсе. А у меня не так: я уже как отдеру, так не то что ректор. Знаешь ли ты, что такое

хорошие кожаные канчуки?

– Как не знать! – сказал философ, понизив голос. – Всякому известно, что такое кожаные канчуки: при большом количестве вещь нестерпимая.

– Да. Только ты не знаешь еще, как хлопцы мои умеют парить! – сказал сотник грозно, подымаясь на ноги, и лицо его приняло повелительное и свирепое выражение, обнаружившее весь необузданный его характер, усыпленный только на время горестью. – У меня прежде выпарят, потом впрыснут горелкою, а после опять. Ступай, ступай! исправляй свое дело! Не исправишь – не встанешь; а исправишь – тысяча червонных!

«Ого-го! да это хват! – подумал философ, выходя. – С этим нечего шутить. Стой, стой, приятель: я так наострю лыжи, что ты с своими собаками не утонишься за мною».

И Хома положил непременно бежать. Он выждал только послеобеденного часу, когда вся дворня имела обыкновение забираться в сено под сараями и, открывши рот, испускать такой храп и свист, что панское подворье делалось похожим на фабрику. Это время нако-

нец настало. Даже и Явтух зажмурил глаза, растянувшись перед солнцем. Философ со страхом и дрожью отправился потихоньку в панский сад, откуда, ему казалось, удобнее и незаметнее было бежать в поле. Этот сад, по обыкновению, был страшно запущен и, стало быть, чрезвычайно способствовал всякому тайному предприятию. Выключая только одной дорожки, протоптанной по хозяйственной надобности, все прочее было скрыто густо разросшимися вишнями, бузиною, лопухом, просунувшим на самый верх свои высокие стебли с цепкими розовыми шишками. Хмель покрывал, как будто сетью, вершину всего этого пестрого собрания деревьев и кустарников и составлял над ними крышу, напялившуюся на плетень и спадавшую с него вьющимися змеями вместе с дикими полевыми колокольчиками. За плетнем, служившим границею сада, шел целый лес бурьяна, в который, казалось, никто не любопытствовал заглядывать, и коса разлетелась бы вдребезги, если бы захотела коснуться лезвием своим одеревеневших толстых стеблей его.

Когда философ хотел перешагнуть пле-

ть, зубы его стучали и сердце так сильно билось, что он сам испугался. Пола его длинной хламиды[132], казалось, прилипала к земле, как будто ее кто приколотил гвоздем. Когда он переступал плетень, ему казалось, с оглушительным свистом трещал в уши какой-то голос: «Куда, куда?» Философ юркнул в бурьян и пустился бежать, беспрестанно оступаясь о старые корни и давя ногами своими кротов. Он видел, что ему, выбравшись из бурьяна, стоило перебежать поле, за которым чернел густой терновник, где он считал себя безопасным и пройдя который он, по предположению своему, думал встретить дорогу прямо в Киев. Поле он перебежал вдруг и очутился в густом терновнике. Сквозь терновник он пролез, оставив, вместо пошлины, куски своего сюртука на каждом остром шипе, и очутился на небольшой лощине. Верба разделившимися ветвями преклонялась инде почти до самой земли. Небольшой источник сверкал, чистый, как серебро. Первое дело философа было прилечь и напиться, потому что он чувствовал жажду нестерпимую.

– Добрая вода! – сказал он, утирая губы. –

Тут бы можно отдохнуть.

– Нет, лучше побежим вперед: неравно будет погоня!

Эти слова раздались у него над ушами. Он оглянулся: перед ним стоял Явтух.

«Чертов Явтух! – подумал в сердцах про себя философ. – Я бы взял тебя, да за ноги... И мерзкую рожу твою, и все, что ни есть на тебе, побил бы дубовым бревном».



– Напрасно дал ты такой крюк, – продолжал Явтух, – гораздо лучше выбрать ту дорогу, по какой шел я: прямо мимо конюшни. Да притом и сюртука жаль. А сукно хорошее. Почему платил за аршин? Однако ж погуляли довольно, пора домой. Философ, почесываясь, побрел за Явтухом. «Теперь проклятая ведьма

задаст мне пфейферу[133], – подумал он. – Да, впрочем, что я, в самом деле? Чего боюсь? Разве я не козак? Ведь читал же две ночи, поможет Бог и третью. Видно, проклятая ведьма порядочно грехов наделала, что нечистая сила так за нее стоит».

Такие размышления занимали его, когда он вступал на панский двор. Ободривши себя такими замечаниями, он упросил Дороша, который посредством протекции ключника имел иногда вход в панские погреба, вытащить сулею сивухи, и оба приятеля, севши под сараем, вытянули немного не полведра, так что философ, вдруг поднявшись на ноги, закричал: «Музыкантов! непременно музыкантов!» – и, не дождавшись музыкантов, пустился среди двора на расчищенном месте отплясывать тропака. Он танцевал до тех пор, пока не наступило время полдника, и дворня, обступившая его, как водится в таких случаях, в кружок, наконец плюнула и пошла прочь, сказавши: «Вот это как долго танцует человек!» Наконец философ тут же лег спать, и добрый ушат холодной воды мог только пробудить его к ужину. За ужином он гово-

рил о том, что такое козак и что он не должен бояться ничего на свете.

– Пора, – сказал Явтух, – пойдём.

«Спичка тебе в язык, проклятый кнур! [134]

» – подумал философ и, встав на ноги, сказал:

– Пойдём.



Идя дорогою, философ беспрестанно поглядывал по сторонам и слегка заговаривал с своими провожатыми. Но Явтух молчал; сам Дорош был неразговорчив. Ночь была адская. Волки выли вдали целою стаей. И самый лай собачий был как-то страшен.

– Кажется, как будто что-то другое воет: это не волк, – сказал Дорош.

Явтух молчал. Философ не нашелся сказать ничего.

Они приблизились к церкви и вступили под ее ветхие деревянные своды, показавшие, как мало заботился владетель поместья о Боге и о душе своей. Явтух и Дорош по-прежнему удалились, и философ остался один. Все было так же. Все было в том же самом грозно-знакомом виде. Он на минуту остановился. Посредине все так же неподвижно стоял гроб ужасной ведьмы. «Не побоюсь, ей-богу, не побоюсь!» – сказал он и, очертивши по-прежнему около себя круг, начал припоминать все свои заклинания. Тишина была страшная; свечи трепетали и обливали светом всю церковь. Философ перевернул один лист, потом перевернул другой и заметил, что он читает совсем не то, что писано в книге. Со страхом перекрестился он и начал петь. Это несколько ободрило его: чтение пошло вперед, и листы мелькали один за другим. Вдруг... среди тишины... с треском лопнула железная крышка гроба и поднялся мертвец. Еще страшнее был он, чем в первый раз. Зубы его страшно ударялись ряд о ряд, в судорогах

задержались его губы, и, дико взвизгивая, понеслись заклинания. Вихорь поднялся по церкви, попадали на землю иконы, полетели сверху вниз разбитые стекла окошек. Двери сорвались с петель, и несметная сила чудовищ влетела в Божью церковь. Страшный шум от крыл и от царапанья когтей наполнил всю церковь. Все летало и носилось, ища повсюду философа.

У Хомя вышел из головы последний остаток хмеля. Он только крестился да читал как попало молитвы. И в то же время слышал, как нечистая сила металась вокруг его, чуть не зацепляя его концами крыл и отвратительных хвостов. Не имел духу разглядеть он их; видел только, как во всю стену стояло какое-то огромное чудовище в своих перепутанных волосах, как в лесу; сквозь сеть волос глядели страшно два глаза, подняв немного вверх брови. Над ним держалось в воздухе что-то в виде огромного пузыря, с тысячью протянутых из середины клещей и скорпионных жал. Черная земля висела на них клоками. Все глядели на него, искали и не могли увидеть его, окруженного таинственным кру-

ГОМ.

– Приведите Вия! ступайте за Виём! – раздалось слова мертвеца.

И вдруг настала тишина в церкви; послышалось вдали волчье завыванье, и скоро раздалось тяжелые шаги, звучащие по церкви; взглянув искоса, увидел он, что ведут какого-то приземистого, дюжего, косолапого человека. Весь был он в черной земле. Как жилистые, крепкие корни, выдавались его засыпанные землею ноги и руки. Тяжело ступал он, поминутно оступаясь. Длинные веки опущены были до самой земли. С ужасом заметил Хома, что лицо было на нем железное. Его привели под руки и прямо поставили к тому месту, где стоял Хома.

– Подымите мне веки: не вижу! – сказал подземным голосом Вий – и все сонмище кинулось подымать ему веки.

«Не гляди!» – шепнул какой-то внутренний голос философу. Не вытерпел он и глянул.

– Вот он! – закричал Вий и уставил на него железный палец. И все, сколько ни было, кинулись на философа. Бездыханный грянулся он на землю, и тут же вылетел дух из него от

страха.

Раздался петуший крик. Это был уже второй крик; первый прослышали гномы. Испуганные духи бросились, кто как попало, в окна и двери, чтобы поскорее вылететь, но не тут-то было; так и остались они там, завязнувши в дверях и окнах. Вошедший священник остановился при виде такого посрамления Божьей святыни и не посмел служить панихиду в таком месте. Так навеки и осталась церковь с завязнувшими в дверях и окнах чудовищами, обросла лесом, корнями, бурьяном, диким терновником; и никто не найдет теперь к ней дороги.

* * *

Когда слухи об этом дошли до Киева и богослов Халява услышал наконец о такой участи философа Хома, то предался целый час раздумью. С ним в продолжение того времени произошли большие перемены. Счастье ему улыбнулось: по окончании курса наук его сделали звонарем самой высокой колокольни, и он всегда почти являлся с разбитым носом, потому что деревянная лестница на колокольню была чрезвычайно безалаберно

сделана.

– Ты слышал, что случилось с Хомою? – сказал, подошедши к нему, Тиберий Горобець, который в то время был уже философ и носил свежие усы.

– Так ему Бог дал, – сказал звонарь Халява. – Пойдем в шинок да помянем его душу!

Молодой философ, который с жаром энтузиаста начал пользоваться своими правами, так что на нем и шаровары, и сюртук, и даже шапка отзывались спиртом и табачными корешками, в ту же минуту изъявил готовность.

– Славный был человек Хома! – сказал звонарь, когда хромой шинкарь поставил перед ним третью кружку. – Знатный был человек! А пропал ни за что.

– А я знаю, почему пропал он: оттого, что побоялся. А если бы не боялся, то бы ведьма ничего не могла с ним сделать. Нужно только, перекрестившись, плюнуть на самый хвост ей, то и ничего не будет. Я знаю уже все это. Ведь у нас в Киеве все бабы, которые сидят на базаре, – все ведьмы.

На это звонарь кивнул головою в знак со-



гласия. Но, заметивши, что язык его не мог произнести ни одного слова, он осторожно встал из-за стола и, пошатываясь на обе стороны, пошел спрятаться в самое отдаленное место в бурьяне. Причем не позабыл, по прежней привычке своей, утащить старую подошву от сапога, валявшуюся на лавке.

Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем

[135]



Глава I

Иван Иванович и Иван Никифорович

Славная бекеша[136] у Ивана Ивановича! от-
личнейшая! А какие смушки[137]! Фу ты,
пропасть, какие смушки! сизые с морозом! Я
ставлю бог знает что, если у кого-либо най-
дутся такие! Взгляните, ради бога, на них, –
особенно если он станет с кем-нибудь гово-
рить, – взгляните сбоку: что это за объядение!
Описать нельзя: бархат! серебро! огонь! Гос-
поди Боже мой! Николай Чудотворец, угод-
ник Божий! отчего же у меня нет такой беке-
ши! Он сшил ее тогда еще, когда Агафия Федо-

сеевна не ездила в Киев. Вы знаете Агафию Федосеевну? та самая, что откусила ухо у заседателя.

Прекрасный человек Иван Иванович! Какой у него дом в Миргороде! Вокруг него со всех сторон навес на дубовых столбах, под навесом везде скамейки. Иван Иванович, когда сделается слишком жарко, скинет с себя и бекешу и исподнее, сам останется в одной рубашке и отдыхает под навесом и смотрит, что делается во дворе и на улице. Какие у него яблони и груши под самыми окнами! Отворите только окно – так ветви и врываются в комнату. Это все перед домом; а посмотрели бы, что у него в саду! Чего там нет! Сливы, вишни, черешни, огорожина всякая, подсолнечники, огурцы, дыни, стручья, даже гумно и кузница.

Прекрасный человек Иван Иванович! Он очень любит дыни. Это его любимое кушанье. Как только отобедает и выйдет в одной рубашке под навес, сейчас приказывает Гапке [138] принести две дыни. И уже сам разрежет, соберет семена в особую бумажку и начнет кушать. Потом велит Гапке принести чернильницу и сам, собственной рукою, сделает

надпись над бумажкой с семенами: «Сия дыня съедена такого-то числа». Если при этом был какой-нибудь гость, то: «участвовал такой-то».

Покойный судья миргородский всегда любовался, глядя на дом Ивана Ивановича. Да, домишко очень недурен. Мне нравится, что к нему со всех сторон пристроены сени и сеннички, так что если взглянуть на него издали, то видны одни только крыши, посаженные одна на другую, что весьма походит на тарелку, наполненную блинами, а еще лучше на губки, нарастающие на дереве. Впрочем, крыши все крыты очеретом[139]; ива, дуб и две яблони облокотились на них своими раскидистыми ветвями. Промеж деревьев мелькают и выбегают даже на улицу небольшие окошки с резными выбеленными ставнями.

Прекрасный человек Иван Иванович! Его знает и комиссар[140] полтавский! Дорош Тарасович Пухивочка, когда едет из Хорола[141], то всегда заезжает к нему. А протопоп[142] отец Петр, что живет в Колиберде[143], когда соберется у него человек пяток гостей, всегда говорит, что он никого не знает, кто бы так

исполнял долг христианский и умел жить, как Иван Иванович.

Боже, как летит время! уже тогда прошло более десяти лет, как он овдовел. Детей у него не было. У Гапки есть дети и бегают часто по двору. Иван Иванович всегда дает каждому из них или по бублику, или по кусочку дыни, или грушу. Гапка у него носит ключи от комор и погребов; от большого же сундука, что стоит в его спальне, и от средней коморы ключ Иван Иванович держит у себя и не любит никого туда пускать. Гапка, девка здоровая, ходит в *запаске*, с свежими икрами и щечками.

А какой богомольный человек Иван Иванович! Каждый воскресный день надевает он бекешу и идет в церковь. Взошедши в нее, Иван Иванович, раскланявшись на все стороны, обыкновенно помещается на крылосе и очень хорошо подтягивает басом. Когда же окончится служба, Иван Иванович никак не утерпит, чтоб не обойти всех нищих. Он бы, может быть, и не хотел заняться таким скучным делом, если бы не побуждала его к тому природная доброта.

– Здорово, небого[144]! – обыкновенно говорил он, отыскавши самую искалеченную бабу, в изодранном, сшитом из заплат платье. – Откуда ты, бедная?

– Я, паночку, из хутора пришла: третий день, как не пила, не ела, выгнали меня собственные дети.

– Бедная головушка, чего ж ты пришла сюда?

– А так, паночку, милостыни просить, не даст ли кто-нибудь хоть на хлеб.

– Гм! что ж, тебе разве хочется хлеба? – обыкновенно спрашивал Иван Иванович.

– Как не хотеть! голодна, как собака.

– Гм! – отвечал обыкновенно Иван Иванович. – Так тебе, может, и мяса хочется?

– Да все, что милость ваша даст, всем буду довольна.

– Гм! разве мясо лучше хлеба?

– Где уж голодному разбирать. Все, что пожелуете, все хорошо.

При этом старуха обыкновенно протягивала руку.

– Ну, ступай же с Богом, – говорил Иван Иванович. – Чего ж ты стоишь? ведь я тебя не

бью! – и, обратившись с такими расспросами к другому, к третьему, наконец возвращается домой или заходит выпить рюмку водки к соседу Ивану Никифоровичу, или к судье, или к городничему.



Иван Иванович очень любит, если ему кто-нибудь сделает подарок или гостинец. Это ему очень нравится.

Очень хороший также человек Иван Никифорович. Его двор возле двора Ивана Ивановича. Они такие между собою приятели, каких свет не производил. Антон Прокофьевич

Пупопуз, который до сих пор еще ходит в коричневом сюртуке с голубыми рукавами и обедает по воскресным дням у судьи, обыкновенно говорил, что Ивана Никифоровича и Ивана Ивановича сам черт связал веревочкой. Куда один, туда и другой плетется.

Иван Никифорович никогда не был женат. Хотя проговаривали, что он женился, но это совершенная ложь. Я очень хорошо знаю Ивана Никифоровича и могу сказать, что он даже не имел намерения жениться. Откуда выходят все эти сплетни? Так, как пронесли было, что Иван Никифорович родился с хвостом назади. Но эта выдумка так нелепа и вместе гнусна и неприлична, что я даже не почитаю нужным опровергать пред просвещенными читателями, которым, без всякого сомнения, известно, что у одних только ведьм, и то у весьма немногих, есть назади хвост, которые, впрочем, принадлежат более к женскому полу, нежели к мужескому.

Несмотря на большую приязнь, эти редкие друзья не совсем были сходны между собою. Лучшее всего можно узнать характеры их из сравнения: Иван Иванович имеет необыкновенно

венный дар говорить чрезвычайно приятно. Господи, как он говорит! Это ощущение можно сравнить только с тем, когда у вас ищут в голове или потихоньку проводят пальцем по вашей пятке. Слушаешь, слушаешь – и голову повесишь. Приятно! чрезвычайно приятно! как сон после купанья. Иван Никифорович, напротив, больше молчит, но зато если влепит словцо, то держись только: отбреет лучше всякой бритвы. Иван Иванович худощав и высокого роста; Иван Никифорович немного ниже, но зато распространяется в толщину. Голова у Ивана Ивановича похожа на редьку хвостом вниз; голова Ивана Никифоровича на редьку хвостом вверх. Иван Иванович только после обеда лежит в одной рубашке под навесом; ввечеру же надевает бешкету и идет куда-нибудь – или к городовому магазину, куда он поставляет муку, или в поле ловить перепелов. Иван Никифорович лежит весь день на крыльце, – если не слишком жаркий день, то обыкновенно выставив спину на солнце, – и никуда не хочет идти. Если вздумается утром, то пройдет по двору, осмотрит хозяйство, и опять на покой. В прежние

времена зайдет, бывало, к Ивану Ивановичу. Иван Иванович чрезвычайно тонкий человек и в порядочном разговоре никогда не скажет неприличного слова и тотчас обидится, если услышит его. Иван Никифорович иногда не обережется; тогда обыкновенно Иван Иванович встает с места и говорит: «Довольно, довольно, Иван Никифорович; лучше скорее на солнце, чем говорить такие богопротивные слова». Иван Иванович очень сердится, если ему попадется в борщ муха: он тогда выходит из себя – и тарелку кинет, и хозяину достанется. Иван Никифорович чрезвычайно любит купаться и, когда сядет по горло в воду, велит поставить также в воду стол и самовар, и очень любит пить чай в такой прохладе. Иван Иванович бреет бороду в неделю два раза; Иван Никифорович один раз. Иван Иванович чрезвычайно любопытен. Боже сохрани, если что-нибудь начнешь ему рассказывать, да не доскажешь! Если ж чем бывает недоволен, то тотчас дает заметить это. По виду Ивана Никифоровича чрезвычайно трудно узнать, доволен ли он или сердит; хоть и обрадуется чему-нибудь, то не покажет. Иван

Иванович несколько боязливого характера. У Ивана Никифоровича, напротив того, шаровары в таких широких складках, что если бы раздуть их, то в них можно бы поместить весь двор с амбарами и строением. У Ивана Ивановича большие выразительные глаза табачного цвета и рот несколько похож на букву *ижицу*[145]; у Ивана Никифоровича глаза маленькие, желтоватые, совершенно пропадающие между густых бровей и пухлых щек, и нос в виде спелой сливы. Иван Иванович если попотчивает вас табаком, то всегда наперед лизнет языком крышку табакерки, потом щелкнет по ней пальцем и, поднесши, скажет, если вы с ним знакомы: «Смею ли просить, государь мой, об одолжении?»; если же незнакомы, то: «Смею ли просить, государь мой, не имея чести знать чина, имени и отчества, об одолжении?» Иван же Никифорович дает вам прямо в руки рожок свой и прибавит только: «Одолжайтесь». Как Иван Иванович, так и Иван Никифорович очень не любят блох; и оттого ни Иван Иванович, ни Иван Никифорович никак не пропустят жида с товарами, чтобы не купить у него эликсира в

разных баночках против этих насекомых, выбрав наперед его хорошенько за то, что он исповедует еврейскую веру.

Впрочем, несмотря на некоторые несходства, как Иван Иванович, так и Иван Никифорович прекрасные люди.

Глава II,
из которой можно узнать, чего захотелось Ивану Ивановичу, о чем происходил разговор между Иваном Ивановичем и Иваном Никифоровичем и чем он окончился

Утром, это было в июле месяце, Иван Иванович лежал под навесом. День был жарок, воздух сух и переливался струями. Иван Иванович успел уже побывать за городом у косарей и на хуторе, успел расспросить встретившихся мужиков и баб, откуда, куда и почему; уходился страх и прилег отдохнуть. Лежа, он долго оглядывал коморы, двор, сарай, кур, бегавших по двору, и думал про себя: «Господи Боже мой, какой я хозяин! Чего у меня нет? Птицы, строение, амбары, всякая прихоть, водка перегонная настоящая; в саду груши, сливы; в огороде мак, капуста, горох...

Чего ж еще нет у меня?.. Хотел бы я знать, чего нет у меня?»

Задавши себе такой глубокомысленный вопрос, Иван Иванович задумался; а между тем глаза его отыскивали новые предметы, перешагнули чрез забор в двор Ивана Никифоровича и занялись невольно любопытным зрелищем. Тощая баба выносила по порядку залежалое платье и развешивала его на протянутой веревке выветривать. Скоро старый мундир с изношенными обшлагами протянул на воздух рукава и обнимал парчовую кофту, за ним высунулся дворянский, с гербовыми пуговицами[146], с отъеденным воротником; белые казимировые панталоны[147] с пятнами, которые когда-то натягивались на ноги Ивана Никифоровича и которые можно теперь натянуть разве на его пальцы. За ним скоро повисли другие, в виде буквы Л. Потом синий козацкий бешмет[148], который шил себе Иван Никифорович назад тому лет двадцать, когда готовился было вступить в милицию и отпустил было уже усы. Наконец, одно к одному, выставилась шпага, походившая на спиц[149], торчавший в воздухе. Потом за-

вертелись фалды чего-то похожего на кафтан травяно-зеленого цвета, с медными пуговицами величиною в пятак. Из-за фалд выглянул жилет, обложенный золотым позументом [150], с большим вырезом наперед. Жилет скоро закрыла старая юбка покойной бабушки, с карманами, в которые можно было положить по арбузу. Все, мешаясь вместе, составляло для Ивана Ивановича очень занимательное зрелище, между тем как лучи солнца, охватывая местами синий или зеленый рукав, красный обшлаг или часть золотой парчи, или играя на шпажном шпиге, делали его чем-то необыкновенным, похожим на тот вертеп, который развозят по хуторам кочующие пройдохи. Особливо когда толпа народа, тесно сдвинувшись, глядит на царя Ирода в золотой короне или на Антона [151], ведущего козу; за вертепом визжит скрипка; цыган брэнчит руками по губам своим вместо барабана, а солнце заходит, и свежий холод южной ночи незаметно прижимается сильнее к свежим плечам и грудям полных хуторянок.

Скоро старуха вылезла из кладовой, кряхтя и таща на себе старинное седло с оборванны-

ми стремянами, с истертыми кожаными чехлами для пистолетов, с чепраком[152] когда-то алого цвета, с золотым шитьем и медными бляхами. «Вот глупая баба! – подумал Иван Иванович, – она еще вытащит и самого Ивана Никифоровича проветривать!»

И точно: Иван Иванович не совсем ошибся в своей догадке. Минут через пять воздвигнулись нанковые шаровары[153] Ивана Никифоровича и заняли собою почти половину двора. После этого она вынесла еще шапку и ружье. «Что ж это значит? – подумал Иван Иванович, – я не видел никогда ружья у Ивана Никифоровича. Что ж это он? стрелять не стреляет, а ружье держит! На что ж оно ему? А вещица славная! Я давно себе хотел достать такое. Мне очень хочется иметь это ружьецо; я люблю позабавиться ружьецом».

– Эй, баба, баба! – закричал Иван Иванович, кивая пальцем.

Старуха подошла к забору.

– Что это у тебя, бабуся, такое?

– Видите сами, ружье.

– Какое ружье?

– Кто его знает какое! Если б оно было мое,



то я, может быть, и знала бы, из чего оно сделано. Но оно панское.

Иван Иванович встал и начал рассматривать ружье со всех сторон и позабыл дать выговор старухе за то, что повесила его вместе с шпагою проветривать.

– Оно, должно думать, железное, – продолжала старуха.

– Гм! железное. Отчего ж оно железное? – говорил про себя Иван Иванович. – А давно ли оно у пана?

– Может быть, и давно.

– Хорошая вещица! – продолжал Иван Ива-

нович. – Я выпрошу его. Что ему делать с ним? Или променяюсь на что-нибудь. Что, бабуся, дома пан?

– Дома.

– Что он? лежит?

– Лежит.

– Ну, хорошо; я приду к нему.

Иван Иванович оделся, взял в руки суковатую палку от собак, потому что в Миргороде гораздо более их попадается на улице, нежели людей, и пошел.

Двор Ивана Никифоровича хотя был возле двора Ивана Ивановича и можно было перелезть из одного в другой через плетень, однако ж Иван Иванович пошел улицею. С этой улицы нужно было перейти в переулок, который был так узок, что если случалось встретиться в нем двум повозкам в одну лошадь, то они уже не могли разъехаться и оставались в таком положении до тех пор, покамест, схвативши за задние колеса, не вытаскивали их каждую в противную сторону на улицу. Пешеход же убирался, как цветами, репейниками, росшими с обеих сторон возле забора. На этот переулок выходили с одной сто-

роны сарай Ивана Ивановича, с другой – амбар, ворота и голубятня Ивана Никифоровича.

Иван Иванович подошел к воротам, загремел щеколдой: извнутри поднялся собачий лай; но разношерстная стая скоро побежала, помахивая хвостами, назад, увидевши, что это было знакомое лицо. Иван Иванович перешел двор, на котором пестрели индейские голуби, кормимые собственноручно Иваном Никифоровичем, корки арбузов и дынь, местами зелень, местами изломанное колесо, или обруч из бочки, или валявшийся мальчишка в запачканной рубашке, – картина, которую любят живописцы! Тень от развешанных платьев покрывала почти весь двор и сообщала ему некоторую прохладу. Баба встретила его поклоном и, зазевавшись, стала на одном месте. Перед домом охорашивалось крылечко с навесом на двух дубовых столбах – ненадежная защита от солнца, которое в это время в Малороссии не любит шутить и обливает пешехода с ног до головы жарким потом. Из этого можно было видеть, как сильно было желание у Ивана Ивановича приоб-

ресть необходимую вещь, когда он решился выйти в такую пору, изменив даже своему всегдашнему обыкновению прогуливаться только вечером.

Комната, в которую вступил Иван Иванович, была совершенно темна, потому что ставни были закрыты, и солнечный луч, проходя в дыру, сделанную в ставне, принял радужный цвет и, ударяясь в противостоящую стену, рисовал на ней пестрый ландшафт из очерченных крыш, деревьев и развешанного на дворе платья, все только в обращенном виде. От этого всей комнате сообщался какой-то чудный полусвет.

– Помоги Бог! – сказал Иван Иванович.

– А! здравствуйте, Иван Иванович! – отвечал голос из угла комнаты. Тогда только Иван Иванович заметил Ивана Никифоровича, лежащего на разостланном на полу ковре. – Извините, что я перед вами в натуре.

Иван Никифорович лежал безо всего, даже без рубашки.

– Ничего. Почивали ли вы сегодня, Иван Никифорович?

– Почивал. А вы почивали, Иван Ивано-

вич?

– Почивал.

– Так вы теперь и встали?

– Я теперь встал? Христос с вами, Иван Никифорович! как можно спать до сих пор! Я только что приехал из хутора. Прекрасные жита по дороге! восхитительные! и сено такое рослое, мягкое, злачное!

– Горпина![154] – закричал Иван Никифорович, – принеси Ивану Ивановичу водки да пирогов со сметаною.

– Хорошее время сегодня.

– Не хвалите, Иван Иванович. Чтоб его черт взял! некуда деваться от жару.

– Вот-таки нужно помянуть черта. Эй, Иван Никифорович! Вы вспомните мое слово, да уже будет поздно: достанется вам на том свете за богопротивные слова.

– Чем же я обидел вас, Иван Иванович? Я не тронул ни отца, ни матери вашей. Не знаю, чем я вас обидел.

– Полно уже, полно, Иван Никифорович!

– Ей-богу, я не обидел вас, Иван Иванович!

– Странно, что перепела до сих пор нейдут под дудочку.

– Как вы себе хотите, думайте, что вам угодно, только я вас не обидел ничем.

– Не знаю, отчего они нейдут, – говорил Иван Иванович, как бы не слушая Ивана Никифоровича. – Время ли не пришло еще, только время, кажется, такое, какое нужно.

– Вы говорите, что жита хорошие?

– Восхитительные жита, восхитительные!

За сим последовало молчание.

– Что это вы, Иван Никифорович, платье развешиваете? – наконец сказал Иван Иванович.

– Да, прекрасное, почти новое платье загноила проклятая баба. Теперь проветриваю; сукно тонкое, превосходное, только вывороти – и можно снова носить.

– Мне там понравилась одна вещица, Иван Никифорович.

– Какая?

– Скажите, пожалуйста, на что вам это ружье, что выставлено выветривать вместе с платьем? – Тут Иван Иванович поднес табак. – Смее ли просить об одолжении?

– Ничего, одолжайтесь! я понюхаю своего! – При этом Иван Никифорович пощупал

вокруг себя и достал рожок. – Вот глупая баба, так она и ружье туда же повесила! Хороший табак жид делает в Сорочинцах. Я не знаю, что он кладет туда, а такое душистое! На канупер[155] немножко похоже. Вот возьмите, разжуйте немножко во рту. Не правда ли, похоже на канупер? Возьмите, одолжайтесь!

– Скажите, пожалуйста, Иван Никифорович, я все насчет ружья: что вы будете с ним делать? ведь оно вам не нужно.

– Как не нужно? а случится стрелять?

– Господь с вами, Иван Никифорович, когда же вы будете стрелять? Разве по втором пришествии. Вы, сколько я знаю и другие запомнят, ни одной еще качки[156] не убили, да и ваша натура не так уже Господом Богом устроена, чтоб стрелять. Вы имеете осанку и фигуру важную. Как же вам таскаться по болотам, когда ваше платье, которое не во всякой речи прилично назвать по имени, проветривается и теперь еще, что же тогда? Нет, вам нужно иметь покой, отдохновение. (Иван Иванович, как упомянуто выше, необыкновенно живописно говорил, когда нужно было убеждать кого. Как он говорил! Боже, как он

говорил!) Да, так вам нужны приличные поступки. Послушайте, отдайте его мне!

– Как можно! это ружье дорогое. Таких ружьев теперь не сыщете нигде. Я, еще как собирался в милицию, купил его у турчина. А теперь бы то так вдруг и отдать его? Как можно? это вещь необходимая.

– На что же она необходимая?

– Как на что? А когда нападут на дом разбойники... Еще бы не необходимая. Слава тебе Господи! теперь я спокоен и не боюсь никого. А отчего? Оттого, что я знаю, что у меня стоит в коморе ружье.

– Хорошее ружье! Да у него, Иван Никифорович, замок испорчен.

– Что ж, что испорчен? Можно починить. Нужно только смазать конопляным маслом, чтоб не ржавел.

– Из ваших слов, Иван Никифорович, я никак не вижу дружественного ко мне расположения. Вы ничего не хотите сделать для меня в знак приязни.

– Как же это вы говорите, Иван Иванович, что я вам не оказываю никакой приязни? Как вам не совестно! Ваши волы пасутся на моей

степи[157], и я ни разу не занимал их[158]. Когда едете в Полтаву, всегда просите у меня повозки, и что ж? разве я отказал когда? Ребятишки ваши перелезают чрез плетень в мой двор и играют с моими собаками – я ничего не говорю: пусть себе играют, лишь бы ничего не трогали! пусть себе играют!

– Когда не хотите подарить, так, пожалуй, поменяемся.

– Что ж вы дадите мне за него? – При этом Иван Никифорович облокотился на руку и поглядел на Ивана Ивановича.

– Я вам дам за него бурую свинью, ту самую, что я откормил в сажу[159]. Славная свинья! Увидите, если на следующий год она не наведет вам поросят.

– Я не знаю, как вы, Иван Иванович, можете это говорить. На что мне свинья ваша? Разве черту поминки делать.

– Опять! без черта таки нельзя обойтись! Грех вам, ей-богу, грех, Иван Никифорович!

– Как же вы, в самом деле, Иван Иванович, даете за ружье черт знает что такое: свинью!

– Отчего же она – черт знает что такое, Иван Никифорович?

– Как же, вы бы сами посудили хорошенько. Это таки ружье, вещь известная; а то – черт знает что такое: свинья! Если бы вы не говорили, я бы мог это принять в обидную для себя сторону.

– Что ж нехорошего заметили вы в свинье?

– За кого же, в самом деле, вы принимаете меня? чтоб я свинью...

– Садитесь, садитесь! не буду уже... Пусть вам остается ваше ружье, пускай себе сгниет и перержавеет, стоя в углу в коморе, – не хочу больше говорить о нем.

После этого последовало молчание.

– Говорят, – начал Иван Иванович, – что три короля объявили войну царю нашему.

– Да, говорил мне Петр Федорович. Что ж это за война? и отчего она?

– Наверное не можно сказать, Иван Никифорович, за что она. Я полагаю, что короли хотят, чтобы мы все приняли турецкую веру.

– Вишь, дурни, чего захотели! – произнес Иван Никифорович, приподнявши голову.

– Вот видите, а царь наш и объявил им за то войну. Нет, говорит, примите вы сами веру Христову!

– Что ж? ведь наши побьют их, Иван Иванович!

– Побьют. Так не хотите, Иван Никифорович, менять ружьеца?

– Мне странно, Иван Иванович: вы, кажется, человек, известный ученостью, а говорите, как недоросль. Что бы я за дурак такой...

– Садитесь, садитесь. Бог с ним! пусть оно себе околет; не буду больше говорить!..

В это время принесли закуску. Иван Иванович выпил рюмку и закусил пирогом с сметаной.

– Слушайте, Иван Никифорович. Я вам дам, кроме свиньи, еще два мешка овса, ведь овса вы не сеяли. Этот год все равно вам нужно будет покупать овес.

– Ей-богу, Иван Иванович, с вами говорить нужно, гороху наевшись. (Это еще ничего, Иван Никифорович и не такие фразы отпускает.) Где видано, чтобы кто ружье променял на два мешка овса? Небось бекеши своей не поставите.

– Но вы позабыли, Иван Никифорович, что я и свинью еще даю вам.

– Как! два мешка овса и свинью за ружье?

– Да что ж, разве мало?

– За ружье?

– Конечно, за ружье.

– Два мешка за ружье?

– Два мешка не пустых, а с овсом; а свинью позабыли?

– Поцелуйтесь с своею свиньею, а коли не хотите, так с чертом!

– О! вас зацепи только! Увидите: нашпигуют вам на том свете язык горячими иголками за такие богомерзкие слова. После разговору с вами нужно и лицо и руки умыть, и самому окуриться.

– Позвольте, Иван Иванович; ружье вещь благородная, самая любопытная забава, при том и украшение в комнате приятное...

– Вы, Иван Никифорович, разносились так с своим ружьем, как дурень с писаною торбою [160], – сказал Иван Иванович с досадою, потому что действительно начинал уже сердиться.

– А вы, Иван Иванович, настоящий гусак [161].

Если бы Иван Никифорович не сказал этого слова, то они бы поспорили между собою и

разошлись, как всегда, приятелями; но теперь произошло совсем другое. Иван Иванович весь вспыхнул.

– Что вы такое сказали, Иван Никифорович? – спросил он, возвысив голос.

– Я сказал, что вы похожи на гусака, Иван Иванович!

– Как же вы смели, сударь, позабыв и приличие и уважение к чину и фамилии человека, обесчестить таким поносным именем?

– Что ж тут поносного? Да чего вы, в самом деле, так размахались руками, Иван Иванович?

– Я повторяю, как вы осмелились, в противность всех приличий, назвать меня гусакком?

– Начхать я вам на голову, Иван Иванович! Что вы так раскудахтались?

Иван Иванович не мог более владеть собою: губы его дрожали; рот изменил обыкновенное положение *ижницы*, а сделался похожим на *О*; глазами он так мигал, что сделалось страшно. Это было у Ивана Ивановича чрезвычайно редко. Нужно было для этого его сильно рассердить.

– Так я ж вам объявляю, – произнес Иван Иванович, – что я знать вас не хочу!

– Большая беда! ей-богу, не заплачу от этого! – отвечал Иван Никифорович.

Лгал, лгал, ей-богу, лгал! ему очень было досадно это.

– Нога моя не будет у вас в доме.

– Эге-ге! – сказал Иван Никифорович, с досады не зная сам, что делать, и, против обыкновения, встав на ноги. – Эй, баба, хлопче! – При сем показалась из-за дверей та самая тощая баба и небольшого роста мальчик, запутанный в длинный и широкий сюртук. – Возьмите Ивана Ивановича за руки да выведите его за двери!

– Как! Дворянина? – закричал с чувством достоинства и негодования Иван Иванович. – Осмелюсь только! подступите! Я вас уничтожу с глупым вашим паном! Ворон не найдет места вашего! (Иван Иванович говорил необыкновенно сильно, когда душа его бывала потрясена.)

Вся группа представляла сильную картину: Иван Никифорович, стоявший посреди комнаты в полной красоте своей без всякого

украшения! Баба, разинувшая рот и выразившая на лице самую бессмысленную, исполненную страха мину! Иван Иванович с поднятою вверх рукою, как изображались римские трибуны[162]! Это была необыкновенная минута! спектакль великолепный! И между тем только один был зрителем: это был мальчик в неизмеримом сюртуке, который стоял довольно покойно и чистил пальцем свой нос.

Наконец Иван Иванович взял шапку свою.

– Очень хорошо поступаете вы, Иван Никифорович! прекрасно! Я это припомню вам.

– Ступайте, Иван Иванович, ступайте! да глядите, не попадайтесь мне: а не то я вам, Иван Иванович, всю морду побью!

– Вот вам за это, Иван Никифорович! – отвечал Иван Иванович, выставив ему кукиш и хлопнув за собою дверью, которая с визгом захрипела и отворилась снова.

Иван Никифорович показался в дверях и что-то хотел присовокупить, но Иван Иванович уже не оглядывался и летел со двора.

Глава III

Что произошло после ссоры Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем

Итак, два почтенные мужа, честь и украшение Миргорода, поссорились между собою! и за что? за вздор, за гусака. Не захотели видеть друг друга, прервали все связи, между тем как прежде были известны за самых неразлучных друзей! Каждый день, бывало, Иван Иванович и Иван Никифорович посылают друг к другу узнать о здоровье и часто переговариваются друг с другом с своих балконов и говорят друг другу такие приятные речи, что сердцу любо слушать было. По воскресным дням, бывало, Иван Иванович в штаметовой бекеше[163], Иван Никифорович в нанковом желто-коричневом казакине[164] отправляются почти об руку друг с другом в церковь. И если Иван Иванович, который имел глаза чрезвычайно зоркие, первый замечал лужу или какую-нибудь нечистоту посреди улицы, что бывает иногда в Миргороде, то всегда говорил Ивану Никифоровичу: «Берегитесь, не ступите сюда ногою, ибо здесь нехорошо». Иван Никифорович, с своей стороны, показывал тоже самые трогательные знаки дружбы и, где бы ни стоял далеко, всегда протянет к Ивану Ивановичу руку с рожком,

примолвивши: «Одолжайтесь!» А какое прекрасное хозяйство у обоих!.. И эти два друга... Когда я услышал об этом, то меня как громом поразило! Я долго не хотел верить: Боже праведный! Иван Иванович поссорился с Иваном Никифоровичем! Такие достойные люди! Что ж теперь прочно на этом свете?

Когда Иван Иванович пришел к себе домой, то долго был в сильном волнении. Он, бывало, прежде всего зайдет в конюшню посмотреть, ест ли кобылка сено (у Ивана Ивановича кобылка саврасая[165], с лысинкой на лбу; хорошая очень лошадка); потом покормит индеек и поросенков из своих рук и тогда уже идет в покои, где или делает деревянную посуду (он очень искусно, не хуже токаря, умеет выделывать разные вещи из дерева), или читает книжку, печатанную у Любия Гаррия и Попова[166] (названия ее Иван Иванович не помнит, потому что девка уже очень давно оторвала верхнюю часть заглавного листка, забавляя дитя), или же отдыхает под навесом. Теперь же он не взялся ни за одно из всегдашних своих занятий. Но вместо того, встретивши Гапку, начал бранить, зачем она

шатается без дела, между тем как она тащила крупу в кухню; кинул палкой в петуха, который пришел к крыльцу за обыкновенной подачей; и когда подбежал к нему запачканный мальчишка в изодранной рубашонке и закричал: «Тятя, тятя, дай пряника!» – то он ему так страшно пригрозил и затопал ногами, что испуганный мальчишка забежал бог знает куда.

Наконец, однако ж, он одумался и начал заниматься всегдашними делами. Поздно стал он обедать и уже ввечеру почти лег отдыхать под навесом. Хороший борщ с голубями, который сварила Гапка, выгнал совершенно утреннее происшествие. Иван Иванович опять начал с удовольствием рассматривать свое хозяйство. Наконец остановил глаза на соседнем дворе и сказал сам себе: «Сегодня я не был у Ивана Никифоровича; пойду-ка к нему». Сказавши это, Иван Иванович взял палку и шапку и отправился на улицу; но едва только вышел за ворота, как вспомнил ссору, плюнул и возвратился назад. Почти такое же движение случилось и на дворе Ивана Никифоровича. Иван Иванович видел, как баба уже поставила ногу на плетень с намерением

перелезть в его двор, как вдруг послышался голос Ивана Никифоровича: «Назад! назад! не нужно!» Однако ж Ивану Ивановичу сделалось очень скучно. Весьма могло быть, что сии достойные люди на другой же бы день помирились, если бы особенное происшествие в доме Ивана Никифоровича не уничтожило всякую надежду и не подлило масла в готовый погаснуть огонь вражды.

К Ивану Никифоровичу ввечеру того же дня приехала Агафия Федосеевна. Агафия Федосеевна не была ни родственницей, ни свояченицей, ни даже кумой Ивану Никифоровичу. Казалось бы, совершенно ей незачем было к нему ездить, и он сам был не слишком ей рад; однако ж она ездила и проживала у него по целым неделям, а иногда и более. Тогда она отбирала ключи и весь дом брала на свои руки. Это было очень неприятно Ивану Никифоровичу, однако ж он, к удивлению, слушал ее, как ребенок, и хотя иногда и пытался спорить, но всегда Агафия Федосеевна брала верх.

Я, признаюсь, не понимаю, для чего это так устроено, что женщины хватают нас за нос

так же ловко, как будто за ручку чайника? Или руки их так созданы, или носы наши ни на что более не годятся. И несмотря, что нос Ивана Никифоровича был несколько похож на сливу, однако ж она схватила его за этот нос и водила за собою, как собачку. Он даже изменял при ней, невольно, обыкновенный свой образ жизни: не так долго лежал на солнце, если же и лежал, то не в натуре, а всегда надевал рубашку и шаровары, хотя Агафья Федосеевна совершенно этого не требовала. Она была неохотница до церемонии, и, когда у Ивана Никифоровича была лихорадка, она сама своими руками вытирала его с ног до головы скипидаром и уксусом. Агафья Федосеевна носила на голове чепец, три бородавки на носу и кофейный капот с желтенькими цветами. Весь стан ее похож был на кадушку, и оттого отыскать ее талию было так же трудно, как увидеть без зеркала свой нос. Ножки ее были коротенькие, сформированные на образец двух подушек. Она сплетничала, и ела вареные бураки[167] по утрам, и отлично хорошо ругалась, – и при всех этих разнообразных занятиях лицо ее ни на минуту

не изменяло своего выражения, что обыкновенно могут показывать одни только женщины.

Как только она приехала, все пошло навыворот.

– Ты, Иван Никифорович, не мирись с ним и не проси прощения: он тебя погубить хочет, это таковский человек! Ты его еще не знаешь.

Шушукала, шушукала проклятая баба и сделала то, что Иван Никифорович и слышать не хотел об Иване Ивановиче.

Все приняло другой вид: если соседняя собака затесалась когда на двор, то ее колотили чем ни попало; ребятишки, перелазившие через забор, возвращались с воплем, с поднятыми вверх рубашонками и с знаками розг на спине. Даже самая баба, когда Иван Иванович хотел было ее спросить о чем-то, сделала такую непристойность, что Иван Иванович, как человек чрезвычайно деликатный, плюнул и примолвил только: «Экая скверная баба! хуже своего пана!»

Наконец, к довершению всех оскорблений, ненавистный сосед выстроил прямо против него, где обыкновенно был перелаз чрез пле-

ть, гусиный хлев, как будто с особенным намерением усугубить оскорбление. Этот обратительный для Ивана Ивановича хлев выстроен был с дьявольской скоростью: в один день.

Это возбудило в Иване Ивановиче злость и желание отомстить. Он не показал, однако ж, никакого вида огорчения, несмотря на то, что хлев даже захватил часть его земли; но сердце у него так билось, что ему было чрезвычайно трудно сохранять это наружное спокойствие.

Так провел он день. Настала ночь... О, если б я был живописец, я бы чудно изобразил всю прелесть ночи! Я бы изобразил, как спит весь Миргород; как неподвижно глядят на него бесчисленные звезды; как видимая тишина оглашается близким и далеким лаем собак; как мимо их несется влюбленный пономарь и перелазит через плетень с рыцарскою бесстрашностью; как белые стены домов, охваченные лунным светом, становятся белее, осеняющие их деревья темнее, тень от деревьев ложится чернее, цветы и умолкнувшая трава душистее, и сверчки, неутомонные рыцари



ночи, дружно со всех углов заводят свои трескучие песни. Я бы изобразил, как в одном из этих низеньких глиняных домиков разметавшейся на одинокой постели чернобровой горожанке с дрожащими молодыми грудями снится гусарский ус и шпоры, а свет луны

смеется на ее щеках. Я бы изобразил, как по белой дороге мелькает черная тень летучей мыши, садящейся на белые трубы домов... Но вряд ли бы я мог изобразить Ивана Ивановича, вышедшего в эту ночь с пилою в руке. Столько на лице у него было написано разных чувств! Тихо, тихо подкрался он и подлез под гусиный хлев. Собаки Ивана Никифоровича еще ничего не знали о ссоре между ними и потому позволили ему, как старому приятелю, подойти к хлеву, который весь держался на четырех дубовых столбах; подлезши к ближнему столбу, приставил он к нему пилу и начал пилить. Шум, производимый пилою, заставлял его поминутно оглядываться, но мысль об обиде возвращала бодрость. Первый столб был подпилен; Иван Иванович принялся за другой. Глаза его горели и ничего не видали от страха. Вдруг Иван Иванович вскрикнул и обомлел: ему показался мертвец; но скоро он пришел в себя, увидевши, что это был гусь, просунувший к нему свою шею. Иван Иванович плюнул от негодования и начал продолжать работу. И второй столб подпилен: здание пошатнулось. Сердце у Ивана

Ивановича начало так страшно биться, когда он принялся за третий, что он несколько раз прекращал работу; уже более половины его было подпилено, как вдруг шаткое здание сильно покачнулось... Иван Иванович едва успел отскочить, как оно рухнуло с треском. Схвативши пилу, в страшном испуге прибежал он домой и бросился на кровать, не имея даже духа поглядеть в окно на следствия своего страшного дела. Ему казалось, что весь двор Ивана Никифоровича собрался: старая баба, Иван Никифорович, мальчик в бесконечном сюртуке – все с дреколями, предводительствуемые Агафией Федосеевной, шли разорять и ломать его дом.

Весь следующий день провел Иван Иванович как в лихорадке. Ему все чудилось, что ненавистный сосед в отместку за это, по крайней мере, подожжет дом его. И потому он дал повеление Гапке поминутно обсматривать везде, не подложено ли где-нибудь сухой соломы. Наконец, чтобы предупредить Ивана Никифоровича, он решился забежать зайцем вперед и подать на него прошение в миргородский поветовый суд. В чем оно состояло,

об этом можно узнать из следующей главы.

Глава IV

о том, что произошло в присутствии миргородского поветового суда

Чудный город Миргород! Каких в нем нет строений! И под соломенною, и под очертяною, даже под деревянною крышею; направо улица, налево улица, везде прекрасный плетень; по нем вьется хмель, на нем висят горшки, из-за него подсолнечник выказывает свою солнцеобразную голову, краснеет мак, мелькают толстые тыквы... Роскошь! Плетень всегда убран предметами, которые делают его еще более живописным: или напяленною плахтою, или сорочкою, или шароварами. В Миргороде нет ни воровства, ни мошенничества, и потому каждый вешает, что ему вздумается. Если будете подходить к площади, то, верно, на время остановитесь полюбоваться видом: на ней находится лужа, удивительная лужа! единственная, какую только вам удавалось когда видеть! Она занимает почти всю площадь. Прекрасная лужа! Дома и домики, которые издали можно принять за копны сена, обступивши вокруг, дивятся красоте ее.



Но я тех мыслей, что нет лучше дома, как поветовый[168] суд. Дубовый ли он или березовый, мне нет дела; но в нем, милостивые государи, восемь окошек! восемь окошек в ряд, прямо на площадь и на то водное пространство, о котором я уже говорил и которое городничий называет озером! Один только он окрашен цветом гранита: прочие все дома в Миргороде просто выбелены. Крыша на нем вся деревянная, и была бы даже выкрашена красною краскою, если бы приготовленное для того масло канцелярские[169], приправивши луком, не съели, что было, как нарочно, во время поста, и крыша осталась некрашеною. На площадь выступает крыльцо, на

котором часто бегают куры, оттого что на крыльце всегда почти рассыпаны крупы или что-нибудь съестное, что, впрочем, делается не нарочно, но единственно от неосторожности просителей. Он разделен на две половины: в одной *присутствие*[170], в другой *арестантская*. В той половине, где присутствие, находятся две комнаты чистые, выбеленные: одна – передняя для просителей; в другой стол, убранный чернильными пятнами; на нем зерцало[171]. Четыре стула дубовые с высокими спинками; возле стен сундуки, кованые железом, в которых сохранялись кипы поветовой ябеды[172]. На одном из этих сундуков стоял тогда сапог, вычищенный ваксою. Присутствие началось еще с утра[173]. Судья, довольно полный человек, хотя несколько тонее Ивана Никифоровича, с доброю миною, в замасленном халате, с трубкою и чашкою чаю, разговаривал с подсудком. У судьи губы находились под самым носом, и оттого нос его мог нюхать верхнюю губу, сколько душе угодно было. Эта губа служила ему вместо табакерки, потому что табак, адресуемый в нос, почти всегда сеялся на нее.

Итак, судья разговаривал с подсудком. Босая девка держала в стороне поднос с чашками.

В конце стола секретарь читал решение дела, но таким однообразным и унывым тоном, что сам подсудимый заснул бы, слушая. Судья, без сомнения, это бы сделал прежде всех, если бы не вошел в занимательный между тем разговор.

– Я нарочно старался узнать, – говорил судья, прихлебывая чай уже с простывшей чашки, – каким образом это делается, что они поют хорошо. У меня был славный дрозд, года два тому назад. Что ж? вдруг испортился совсем. Начал петь бог знает что. Чем далее, хуже, хуже, стал картавить, хрипеть, – хоть выбрось! А ведь самый вздор! это вот отчего делается: под горлышком делается бобон, меньше горошинки. Этот бобончик нужно только проколоть иголкой. Меня научил этому Захар Прокофьевич, и именно, если хотите, я вам расскажу, каким это было образом: приезжаю я к нему...

– Прикажете, Демьян Демьянович, читать другое? – прервал секретарь, уже несколько минут как окончивший чтение.

– А вы уже прочитали? Представьте, как скоро! Я и не услышал ничего! Да где ж оно? дайте его сюда, я подпишу. Что там еще у вас?

– Дело козака Бокитька о краденной корове.

– Хорошо, читайте! Да, так приезжаю я к нему... Я могу даже рассказать вам подробно, как он угостил меня. К водке был подан балык, единственный! Да, не нашего балыка, которым, – при этом судья сделал языком и улыбнулся, причем нос понюхал свою всегдашнюю табакерку, – которым угощает наша бакалейная миргородская лавка. Селедки я не ел, потому что, как вы сами знаете, у меня от нее делается изжога под ложечкою. Но икры отведал; прекрасная икра! нечего сказать, отличная! Потом выпил я водки персиковой, настоящей на золототысячник. Была и шафранная; но шафранной, как вы сами знаете, я не употребляю. Оно, видите, очень хорошо: наперед, как говорят, раззадорить аппетит, а потом уже завершить... А! слыхом слышать, видом видать... – вскричал вдруг судья, увидев входящего Ивана Ивановича.

– Бог в помощь! желаю здравствовать! – произнес Иван Иванович, поклонившись на

все стороны, с свойственной ему одному приятностию. Боже мой, как он умел обворожить всех своим обращением! Тонкости такой я нигде не видывал. Он знал очень хорошо сам свое достоинство и потому на всеобщее почтение смотрел, как на должное. Судья сам подал стул Ивану Ивановичу, нос его потянул с верхней губы весь табак, что всегда было у него знаком большого удовольствия.

– Чем прикажете потчевать вас, Иван Иванович? – спросил он. – Не прикажете ли чашку чаю?

– Нет, весьма благодарю, – отвечал Иван Иванович, поклонился и сел.

– Сделайте милость, одну чашечку! – повторил судья.

– Нет, – благодарю. Весьма доволен гостеприимством, – отвечал Иван Иванович, поклонился и сел.

– Одну чашку, – повторил судья.

– Нет, не беспокойтесь, Демьян Демьянович!

При этом Иван Иванович поклонился и сел.

– Чашечку?

– Уж так и быть, разве чашечку! – произнес Иван Иванович и протянул руку к подносу.

Господи Боже! какая бездна тонкости бывает у человека! Нельзя рассказать, какое приятное впечатление производят такие поступки!

– Не прикажете ли еще чашечку?

– Покорно благодарствую, – отвечал Иван Иванович, ставя на поднос опрокинутую чашку и кланяясь.

– Сделайте одолжение, Иван Иванович!

– Не могу. Весьма благодарен. – При этом Иван Иванович поклонился и сел.

– Иван Иванович! сделайте дружбу, одну чашечку!

– Нет, весьма обязан за угощение.

Сказавши это, Иван Иванович поклонился и сел.

– Только чашечку! одну чашечку!

Иван Иванович протянул руку к подносу и взял чашку.

Фу-ты пропасть! как может, как найдется человек поддержать свое достоинство!

– Я, Демьян Демьянович, – говорил Иван Иванович, допивая последний глоток, – я к

вам имею необходимое дело: я подаю позов [174]. – При этом Иван Иванович поставил чашку и вынул из кармана написанный гербовый лист бумаги[175]. – Позов на врага своего, на заклятого врага.

– На кого же это?

– На Ивана Никифоровича Довгочхуна.

При этих словах судья чуть не упал со стула.

– Что вы говорите! – произнес он, всплеснув руками. – Иван Иванович! вы ли это?

– Видите сами, что я.

– Господь с вами и все святые! Как! вы, Иван Иванович, стали неприятелем Ивану Никифоровичу? Ваши ли это уста говорят? Повторите еще! Да не спрятался ли у вас кто-нибудь сзади и говорит вместо вас?..

– Что ж тут невероятного. Я не могу смотреть на него; он нанес мне смертную обиду, оскорбил честь мою.

– Пресвятая Троица! как же мне теперь уверить матушку! А она, старушка, каждый день, как только мы поссоримся с сестрою, говорит: «Вы, детки, живете между собою, как собаки. Хоть бы вы взяли пример с Ивана

Ивановича и Ивана Никифоровича. Вот уж друзья так друзья! то-то приятели! то-то достойные люди!» Вот тебе и приятели! Расскажите, за что же это? как?

– Это дело деликатное, Демьян Демьянович! на словах его нельзя рассказать. Прикажете лучше прочесть просьбу. Вот, возьмите с этой стороны, здесь приличнее.

– Прочитайте, Тарас Тихонович! – сказал судья, оборотившись к секретарю.

Тарас Тихонович взял просьбу и, высморкавшись таким образом, как сморкаются все секретари по поветовым судам, с помощью двух пальцев, начал читать:

– «От дворянина Миргородского повета и помещика Ивана, Иванова сына, Перерепенка прошение; а о чем, тому следуют пункты:

1) Известный всему свету своими богопротивными, в омерзение приводящими и всякую меру превышающими законопреступными поступками, дворянин Иван, Никифоров сын, Довгочхун[176], сего 1810 года июля 7 дня учинил мне смертельную обиду, как персонально до чести моей относящуюся, так равномерно в уничижение и конфузию чина мо-

его и фамилии. Оный дворянин, и сам притом гнусного вида, характер имеет бранчивый и преисполнен разного рода богохулениями и бранными словами...»

Тут чтец немного остановился, чтобы снова высморкаться, а судья с благоговением сложил руки и только говорил про себя:

– Что за бойкое перо! Господи Боже! как пишет этот человек!

Иван Иванович просил читать далее, и Тарас Тихонович продолжал:

– «Оный дворянин, Иван, Никифоров сын, Довгочхун, когда я пришел к нему с дружескими предложениями, назвал меня публично обидным и поносным для чести моей имением, а именно: *гусаком*, тогда как известно всему Миргородскому повету, что сим гнусным животным я никогда отнюдь не именовался и впредь именоваться не намерен. Доказательством же дворянского моего происхождения есть то, что в метрической книге, находящейся в церкви *Трех Святителей*[177], записан как день моего рождения, так равномерно и полученное мною крещение. *Гусак* же, как известно всем, кто сколько-нибудь

сведущ в науках, не может быть записан в метрической книге, ибо гусак есть не человек, а птица, что уже всякому, даже не бывавшему в семинарии[178], достоверно известно. Но оный злокачественный дворянин, будучи обо всем этом сведущ, не для чего иного, как чтобы нанести смертельную для моего чина и звания обиду, обругал меня оним гнусным словом.

2) Сей же самый неблагопристойный и неприличный дворянин посягнул притом на мою родовую, полученную мною после родителя моего, состоявшего в духовном звании, блаженной памяти Ивана, Онисиева сына, Перерепенка, собственность, тем, что, в противность всяким законам, перенес совершенно насупротив моего крыльца гусиный хлев, что делалось не с иным каким намерением, как чтоб усугубить нанесенную мне обиду, ибо оный хлев стоял до сего в изрядном месте и довольно еще был крепок. Но омерзительное намерение вышеупомянутого дворянина состояло единственно в том, чтобы учинить меня свидетелем непристойных пассажей: ибо известно, что всякий человек не пойдет в

хлев, тем паче в гусиный, для приличного дела. При таком противузаконном действии две передние сохи захватили собственную мою землю, доставшуюся мне еще при жизни от родителя моего, блаженной памяти Ивана, Онисиева сына, Перерепенка, начинавшуюся от амбара и прямою линией до самого того места, где бабы моют горшки.

3) Вышеизображенный дворянин, которого уже самое имя и фамилия внушает всякое омерзение, питает в душе злостное намерение поджечь меня в собственном доме. Несомненные чему признаки из нижеследующего явствуют: во-1-х, оный злокачественный дворянин начал выходить часто из своих покоев, чего прежде никогда, по причине своей лени и гнусной тучности тела, не предпринимал; во-2-х, в людской его, примыкающей о самый забор, ограждающий мою собственную, полученную мною от покойного родителя моего, блаженной памяти Ивана, Онисиева сына, Перерепенка, землю, ежедневно и в необычайной продолжительности горит свет, что уже явное есть к тому доказательство, ибо до сего, по скаредной его скупости, всегда

не только сальная свеча, но даже каганец [179] был потушаем.

И потому прошу оногo дворянина Ивана, Никифорова сына, Довгочхуна, яко повинного в зажигательстве, в оскорблении моего чина, имени и фамилии и в хищническом присвоении собственности, а паче всего в подлом и предосудительном присовокуплении к фамилии моей названия *гусака*, ко взысканию штрафа, удовлетворения проторей[180] и убытков присудить и самого, яко нарушителя, в кандалы забить и, заковавши, в городскую тюрьму препроводить, и по сему моему прошению решение немедленно и неукоснительно учинить. – Писал и сочинял дворянин, миргородский помещик Иван, Иванов сын, Перерепенко».

По прочтении просьбы судья приблизился к Ивану Ивановичу, взял его за пуговицу и начал говорить ему почти таким образом:

– Что это вы делаете, Иван Иванович? Бога бойтесь! бросьте просьбу, пусть она пропадает! (Сатана приснись ей!) Возьмитесь лучше с Иваном Никифоровичем за руки, да поцелуйтесь, да купите сантуринского[181], или нико-

польского, или хоть просто сделайте пуншику, да позовите меня! Разопьем вместе и позабудем всё!

– Нет, Демьян Демьянович! не такое дело, – сказал Иван Иванович с важностью, которая так всегда шла к нему. – Не такое дело, чтобы можно было решить любовною сделкою. Прощайте! Прощайте и вы, господа! – продолжал он с тою же важностью, оборотившись ко всем. – Надеюсь, что моя просьба возымеет надлежащее действие. – И ушел, оставив в изумлении все присутствие.

Судья сидел, не говоря ни слова; секретарь нюхал табак; канцелярские опрокинули разбитый черепок бутылки, употребляемый вместо чернильницы; и сам судья в рассеянности разводил пальцем по столу чернильную лужу.

– Что вы скажете на это, Дорофей Трофимович? – сказал судья, после некоторого молчания обратившись к подсудку.

– Ничего не скажу, – отвечал подсудок[182].

– Экие дела делаются! – продолжал судья.

Не успел он этого сказать, как дверь затрещала и передняя половина Ивана Никифоро-

вича высадилась в присутствие, остальная оставалась еще в передней. Появление Ивана Никифоровича, и еще в суд, так показалось необыкновенным, что судья вскрикнул; секретарь прервал свое чтение. Один канцелярист, в фризовой подобии полуфрака[183], взял в губы перо; другой проглотил муху. Даже отправлявший должность фельдъегеря [184] и сторожа инвалид, который до того стоял у дверей, почесывая в своей грязной рубашке с нашивкою на плече, даже этот инвалид разинул рот и наступил кому-то на ногу.

– Какими судьбами! что и как? Как здоровье ваше, Иван Никифорович?

Но Иван Никифорович был ни жив ни мертв, потому что завязнул в дверях и не мог сделать ни шагу вперед или назад. Напрасно судья кричал в переднюю, чтобы кто-нибудь из находившихся там выпер сзади Ивана Никифоровича в присутственную залу. В передней находилась одна только старуха просительница, которая, несмотря на все усилия своих костистых рук, ничего не могла сделать. Тогда один из канцелярских, с толстыми губами, с широкими плечами, с толстым но-

сом, глазами, глядевшими скося и пьяна, с разодранными локтями, приблизился к передней половине Ивана Никифоровича, сложил ему обе руки накрест, как ребенку, и мигнул старому инвалиду, который уперся своим коленом в брюхо Ивана Никифоровича, и, несмотря на жалобные стоны, вытиснул он был в переднюю. Тогда отодвинули задвижки и отворили вторую половинку дверей. При чем канцелярский и его помощник, инвалид, от дружных усилий дыханием уст своих распространили такой сильный запах, что комната присутствия превратилась было на время в питейный дом.

– Не зашибли ли вас, Иван Никифорович? Я скажу матушке, она пришлет вам настойки, которою потрите только поясницу и спину, и все пройдет.

Но Иван Никифорович повалился на стул и, кроме продолжительных охов, ничего не мог сказать. Наконец слабым, едва слышным от усталости голосом произнес он:

– Не угодно ли? – и, вынувши из кармана рожок, прибавил: – Возьмите, одолжайтесь!

– Весьма рад, что вас вижу, – отвечал су-

дья. – Но все не могу представить себе, что заставило вас предпринять труд и одолжить нас такую приятною нечаянностью.

– С просьбою... – мог только произнести Иван Никифорович.

– С просьбою? с какою?

– С позвом... – тут одышка произвела долгую паузу, – ох!.. с позвом на мошенника... Ивана Иванова Перерепенка.

– Господи! и вы туда! Такие редкие друзья! Позов на такого добродетельного человека!..

– Он сам сатана! – произнес отрывисто Иван Никифорович.

Судья перекрестился.

– Возьмите просьбу, прочитайте.

– Нечего делать, прочитайте, Тарас Тихонович, – сказал судья, обращаясь к секретарю с видом неудовольствия, причем нос его невольно понюхал верхнюю губу, что обыкновенно он делал прежде только от большого удовольствия. Такое самоуправство носа причинило судье еще более досады. Он вынул платок и смел с верхней губы весь табак, чтобы наказать дерзость его.

Секретарь, сделавши обыкновенный свой

приступ, который он всегда употреблял перед начатием чтения, то есть без помощи носового платка, начал обыкновенным своим голосом таким образом:

– «Просит дворянин Миргородского повета Иван, Никифоров сын, Довгочхун, а о чем, тому следуют пункты:

1) По ненавистной злобе своей и явному недоброжелательству, называющий себя дворянином, Иван, Иванов сын, Перерепенко всякие пакости, убытки и иные ехидненские и в ужас приводящие поступки мне чинит и вчерашнего дня пополудни, как разбойник и тать[185], с топорами, пилами, долотами и иными слесарными орудиями, забрался ночью в мой двор и в находящийся в оном мой же собственный хлев, собственноручно и поносным образом его изрубил. На что, с моей стороны, я не подавал никакой причины к столь противозаконному и разбойническому поступку.

2) Оный же дворянин Перерепенко имеет посягательство на самую жизнь мою и до 7-го числа прошлого месяца, содержа втайне сие намерение, пришел ко мне и начал друже-

ским и хитрым образом выпрашивать у меня ружье, находившееся в моей комнате, и предлагал мне за него, с свойственною ему скупостью, многие негодные вещи, как-то: свинью бурую и две мерки овса. Но, предугадывая тогда же преступное его намерение, я всячески старался от оногo уклонить его; но оный мошенник и подлец, Иван, Иванов сын, Перерепенко, выбранил меня мужицким образом и питает ко мне с того времени вражду непримиримую. Притом же оный, часто поминаемый, неистовый дворянин и разбойник, Иван, Иванов сын, Перерепенко, и происхождения весьма поносного: его сестра была известная всему свету потаскуха и ушла за егерскою ротою[186], стоявшею назад тому пять лет в Миргороде; а мужа своего записала в крестьяне. Отец и мать его тоже были пребеззаконные люди, и оба были невообразимые пьяницы. Упоминаемый же дворянин и разбойник Перерепенко своими скотоподобными и порицания достойными поступками превзошел всю свою родню и под видом благочестия делает самые соблазнительные дела: постов не содержит, ибо накануне филип-

повки[187] сей богоотступник купил барана и на другой день велел зарезать своей незаконной девке Гапке, оговариваясь, аки бы ему нужно было под тот час сало на каганцы и свечи.

Посему прошу оногo дворянина, яко разбойника, святотатца, мошенника, уличенногo уже в воровстве и грабительстве, в кандалы заковать и в тюрьму, или государственный острог, препроводить, и там уже, по усмотрению, лиша чинов и дворянства, добре барбарами шмаровать[188] и в Сибирь на ка-торгу по надобности заточить; проторы, убытки велеть ему заплатить и по сему моему прошению решение учинить. – К сему прошению руку приложил дворянин Миргородского повета Иван, Никифоров сын, Довгочхун».

Как только секретарь кончил чтение, Иван Никифорович взялся за шапку и поклонился, с намерением уйти.

– Куда же вы, Иван Никифорович? – говорил ему вслед судья. – Посидите немного! выпейте чаю! Орышко![189] что ты стоишь, глупая девка, и перемигиваешься с канцелярскими? Ступай принеси чаю!

Но Иван Никифорович, с испугу, что так далеко зашел от дому и выдержал такой опасный карантин, успел уже пролезть в дверь, проговорив:

– Не беспокойтесь, я с удовольствием... – и затворил ее за собою, оставив в изумлении все присутствие.

Делать было нечего. Обе просьбы были приняты, и дело готовилось принять довольно важный интерес, как одно непредвиденное обстоятельство сообщило ему еще большую занимательность. Когда судья вышел из присутствия в сопровождении подсудка и секретаря, а канцелярские укладывали в мешок нанесенных просителями кур, яиц, краюх хлеба, пирогов, книшей и прочего дрязгу, в это время бурая свинья вбежала в комнату и схватила, к удивлению присутствовавших, не пирог или хлебную корку, но прошение Ивана Никифоровича, которое лежало на конце стола, перевесившись листами вниз. Схвативши бумагу, бурая хавронья[190] убежала так скоро, что ни один из приказных чиновников не мог догнать ее, несмотря на кидаемые линейки и чернильницы.



Это чрезвычайное происшествие произвело страшную суматоху, потому что даже копия не была еще списана с нее. Судья, то есть его секретарь и подсудок, долго трактовали [191] об таком неслыханном обстоятельстве; наконец решено было на том, чтобы написать об этом отношении к городничему, так как следствие по этому делу более относилось к гражданской полиции. Отношение за № 389 послано было к нему того же дня, и по этому самому произошло довольно любопытное объяснение, о котором читатели могут узнать из следующей главы.

Глава V, в которой излагается совещание двух

почетных в Миргороде особ

Как только Иван Иванович управился в своем хозяйстве и вышел, по обыкновению, полежать под навесом, как, к несказанному удивлению своему, увидел что-то красневшее в калитке. Это был красный обшлаг городничего, который, равномерно как и воротник его, получил политуру и по краям превращался в лакированную кожу. Иван Иванович подумал про себя: «Недурно, что пришел Петр Федорович поговорить», – но очень удивился, увидя, что городничий шел чрезвычайно скоро и размахивал руками, что случалось с ним, по обыкновению, весьма редко. На мундире у городничего посажено было восемь пуговиц, девятая как оторвалась во время процессии при освящении храма назад тому два года, так до сих пор десятские[192] не могут отыскать, хотя городничий при ежедневных рапортах, которые отдают ему квартальные надзиратели[193], всегда спрашивает, нашлась ли пуговица. Эти восемь пуговиц были насажены у него таким образом, как бабы сядят бобы: одна направо, другая налево. Левая нога была у него прострелена в последней

кампании, и потому он, прихрамывая, закидывал ею так далеко в сторону, что разрушал этим почти весь труд правой ноги. Чем быстрее действовал городничий своею пехотою, тем менее она подвигалась вперед. И потому, покамест дошел городничий к навесу, Иван Иванович имел довольно времени теряться в догадках, отчего городничий так скоро размахивал руками. Тем более это его занимало, что дело казалось необыкновенной важности, ибо при нем была даже новая шпага.

– Здравствуйте, Петр Федорович! – вскричал Иван Иванович, который, как уже сказано, был очень любопытен и никак не мог удержать своего нетерпения при виде, как городничий брал приступом крыльцо, но все еще не поднимал глаз своих вверх и ссорился с своею пехотою, которая никаким образом не могла с одного размаху взойти на ступеньку.

– Доброго дня желаю любезному другу и благодетелю Ивану Ивановичу! – отвечал городничий.

– Милости прошу садиться. Вы, как я вижу, устали, потому что ваша раненая нога мешает...

– Моя нога! – вскрикнул городничий, бросив на Ивана Ивановича один из тех взглядов, какие бросает великан на пигмея, ученый педант[194] на танцевального учителя. При этом он вытянул свою ногу и топнул ею об пол. Эта храбрость, однако ж, ему дорого стоила, потому что весь корпус его покачнулся и нос клюнул перила; но мудрый блюститель порядка, чтоб не подать никакого вида, тотчас оправился и полез в карман, как будто бы с тем, чтобы достать табакерку. – Я вам доложу о себе, любезнейший друг и благодетель Иван Иванович, что я дельвал на веку своем не такие походы. Да, серьезно, дельвал. Например, во время кампании тысяча восемьсот седьмого года...[195] Ах, я вам расскажу, каким манером я перелез через забор к одной хорошенькой немке. – При этом городничий зажмурил один глаз и сделал бесовски плутовскую улыбку.

– Где же вы бывали сегодня? – спросил Иван Иванович, желая прервать городничего и скорее навести его на причину посещения; ему бы очень хотелось спросить, что такое намерен объявить городничий; но тонкое по-

знание света представляло ему всю неприличность такого вопроса, и Иван Иванович должен был скрепиться и ожидать разгадки, между тем как сердце его колотилось с необыкновенною силою.

– А позвольте, я вам расскажу, где был я, – отвечал городничий. – Во-первых, доложу вам, что сегодня отличное время...

При последних словах Иван Иванович почти что не умер.

– Но позвольте, – продолжал городничий. – Я пришел сегодня к вам по одному весьма важному делу. – Тут лицо городничего и осанка приняли то же самое озабоченное положение, с которым брал он приступом крыльцо.

Иван Иванович ожил и трепетал, как в лихорадке, не замедливши, по обыкновению своему, сделать вопрос:

– Какое же оно важное? разве оно важное?

– Вот извольте видеть: прежде всего осмелюсь доложить вам, любезный друг и благодетель Иван Иванович, что вы... с моей стороны, я, извольте видеть, я ничего; но виды правительства, виды правительства этого требуют: вы нарушили порядок благочиния!..

– Что это вы говорите, Петр Федорович? Я ничего не понимаю.

– Помилуйте, Иван Иванович! Как вы ничего не понимаете? Ваша собственная животи́на утащи́ла очень важную казенную бумагу, и вы еще говорите после этого, что ничего не понимаете!

– Какая животи́на?

– С позволения сказать, ваша собственная бурая сви́нья.

– А я чем виноват? Зачем судейский сторож отворяет двери!

– Но, Иван Иванович, ваше собственное животное – стало быть, вы виноваты.

– Покорно благодарю вас за то, что с сви́ньей меня равняете.

– Вот уж этого я не говорил, Иван Иванович! Ей-богу, не говорил! Извольте рассудить по чистой совести сами: вам, без всякого сомнения, известно, что, согласно с видами начальства, запрещено в городе, тем же паче в главных градских улицах, прогуливаться нечистым животным. Согласитесь сами, что это дело запрещенное.

– Бог знает что это вы говорите! Большая

важность, что свинья вышла на улицу!

– Позвольте вам доложить, позвольте, позвольте, Иван Иванович, это совершенно невозможно. Что ж делать? Начальство хочет – мы должны повиноваться. Не спорю, забегают иногда на улицу и даже на площадь куры и гуси, – заметьте себе: куры и гуси; но свиней и козлов я еще в прошлом году дал предписание не впускать на публичные площади. Которое предписание тогда же приказал прочитать изустно, в собрании, пред целым народом.

– Нет, Петр Федорович, я здесь ничего не вижу, как только то, что вы всячески стараетесь обижать меня.

– Вот этого-то не можете сказать, любезнейший друг и благодетель, чтобы я старался обижать.

Вспомните сами: я не сказал вам ни одного слова прошлый год, когда вы выстроили крышу целым аршином выше установленной меры. Напротив, я показал вид, как будто совершенно этого не заметил. Верьте, любезнейший друг, что и теперь бы я совершенно, так сказать... но мой долг, словом, обязанность

требует смотреть за чистотой. Посудите сами, когда вдруг на главной улице...

– Уж хороши ваши главные улицы! Туда всякая баба идет выбросить то, что ей не нужно.

– Позвольте вам доложить, Иван Иванович, что вы сами обижаете меня! Правда, это случается иногда, но по большей части только под забором, сараями или коморами; но чтоб на главной улице, на площадь втесалась супоросная свинья[196], это такое дело...

– Что ж такое, Петр Федорович! Ведь свинья творение Божие!

– Согласен! Это всему свету известно, что вы человек ученый, знаете науки и прочие разные предметы. Конечно, я наукам не обучался никаким: скорописному письму я начал учиться на тридцатом году своей жизни. Ведь я, как вам известно, из рядовых.

– Гм! – сказал Иван Иванович.

– Да, – продолжал городничий, – в тысяча восемьсот первом году я находился в сорок втором егерском полку в четвертой роте поручиком. Ротный командир у нас был, если изволите знать, капитан Еремеев. – При этом

городничий запустил свои пальцы в табакерку, которую Иван Иванович держал открытою и переминал табак.

Иван Иванович отвечал:

– Гм!

– Но мой долг, – продолжал городничий, – есть повиноваться требованиям правительства. Знаете ли вы, Иван Иванович, что похищенный в суде казенную бумагу подвергается, наравне со всяким другим преступлением, уголовному суду?

– Так знаю, что, если вы хотите, и вас научу. Так говорится о людях, например если бы вы украли бумагу; но свинья животное, творение Божие!

– Всё так, но закон говорит: «виновный в похищении...». Прошу вас прислушаться внимательно: *виновный!* Здесь не означает ни рода, ни пола, ни звания, – стало быть, и животное может быть виновно. Воля ваша, а животное прежде произнесения приговора к наказанию должно быть представлено в полицию как нарушитель порядка.

– Нет, Петр Федорович! – возразил хладнокровно Иван Иванович. – Этого-то не будет!

– Как вы хотите, только я должен следовать предписаниям начальства.

– Что ж вы страшаете меня? Верно, хотите прислать за нею безрукого солдата? Я прикажу дворовой бабе его кочергой выпроводить. Ему последнюю руку переломят.

– Я не смею с вами спорить. В таком случае, если вы не хотите представить ее в полицию, то пользуйтесь ею, как вам угодно: заколите, когда желаете, ее к Рождеству и сделайте из нее окороков, или так съедите. Только я бы у вас попросил, если будете делать колбасы, пришлите мне парочку тех, которые у вас так искусно делает Гапка из свиной крови и сала. Моя Аграфена Трофимовна очень их любит.

– Колбас, извольте, пришлю парочку.

– Очень вам буду благодарен, любезный друг и благодетель. Теперь позвольте вам сказать еще одно слово: я имею поручение, как от судьи, так равно и от всех наших знакомых, так сказать, примирить вас с приятелем вашим, Иваном Никифоровичем.

– Как! с невежею? чтобы я примирился с этим грубияном? Никогда! Не будет этого, не

будет! – Иван Иванович был в чрезвычайно решительном состоянии.

– Как вы себе хотите, – отвечал городничий, угощая обе ноздри табаком. – Я сам не смею советовать; однако ж позвольте доложить: вот вы теперь в ссоре, а как помиритесь...

Но Иван Иванович начал говорить о ловле перепелов, что обыкновенно случалось, когда он хотел замять речь.

Итак, городничий не получив никакого успеха, должен был отправиться восвояси.

Глава VI,

***из которой читатель легко может узнать
все то, что в ней содержится***

Сколько ни старались в суде скрыть дело, но на другой же день весь Миргород узнал, что свинья Ивана Ивановича утащила просьбу Ивана Никифоровича. Сам городничий первый, позабывшись, проговорился. Когда Ивану Никифоровичу сказали об этом, он ничего не сказал, спросил только: «Не бурая ли?»

Но Агафия Федосеевна, которая была при этом, начала опять приступать к Ивану Ники-

форовичу:

– Что ты, Иван Никифорович? Над тобой будут смеяться, как над дураком, если тыпустишь! Какой ты после этого будешь дворянин! Ты будешь хуже бабы, что продает сластены[197], которые ты так любишь!

И уговорила неутомонная! Нашла где-то человекка средних лет, черномазого, с пятнами по всему лицу, в темно-синем, с заплатами на локтях, сюртуке – совершенную приказную чернильницу! Сапоги он смазывал дегтем, носил по три пера за ухом и привязанный к пуговице на шнурочке стеклянный пузырек вместо чернильницы; съедал за одним разом девять пирогов, а десятый клал в карман, и в один гербовый лист столько уписывал всякой ябеды, что никакой чтец не мог за одним разом прочесть, не перемежая этого кашлем и чиханьем. Это небольшое подобие человека копалось, корпело, писало и наконец состряпало такую бумагу:

«В миргородский поветовый суд от дворянина Ивана, Никифорова сына, Довгочхуна.

Вследствие оного прошения моего, что от меня, дворянина Ивана, Никифорова сына,



Довгочхуна, к тому имело быть, совокупно с дворянином Иваном, Ивановым сыном, Перерепенком, чему и сам поветовый миргородский суд потворство свое изъявил. И самое оное нахальное самоуправство бурой свиньи, будучи втайне содержимо и уже от сторонних людей до слуха дошедшись. Понеже[198] оное допущение и потворство, яко злоумышленное, суду неукоснительно подлежит; ибо оная свинья есть животное глупое и тем паче

способное к хищению бумаги. Из чего очевидно явствуется, что часто поминаемая свинья не иначе как была подущена к тому самым противником, называющим себя дворянином Иваном, Ивановым сыном, Перерепенком, уже уличенном в разбое, посягательстве на жизнь и святотатстве. Но оный миргородский суд, с свойственным ему лицепрятанием, тайное своей особы соглашение изъявил; без какового соглашения она свинья никоим бы образом не могла быть допущенною к утащению бумаги: ибо миргородский поветовый суд в прислуге весьма снабжен, для сего довольно уже назвать одного солдата, во всякое время в приемной пребывающего, который хотя имеет один кривой глаз и несколько поврежденную руку, но чтобы выгнать свинью и ударить ее дубиною, имеет весьма соразмерные способности. Из чего достоверно видно потворство оногo миргородского суда и бесспорно разделение жидовского от того барыша по взаимности совмещаясь. Оный же вышеупомянутый разбойник и дворянин Иван, Иванов сын, Перерепенко в приточении ошельмовавшись состоялся[199]. Почему

и довожу оному поветовому суду я, дворянин Иван, Никифоров сын, Довгочхун, в надлежащее всеведение, если с оной бурой свиньи или согласившегося с нею дворянина Перерепенка означенная просьба взыщена не будет и по ней решение по справедливости и в мою пользу не возымеет, то я, дворянин Иван, Никифоров сын, Довгочхун, о таком оногo суда противозаконном потворстве подать жалобу в палату имею с надлежащим по форме перенесением дела. – Дворянин Миргородского повета Иван, Никифоров сын, Довгочхун».

Эта просьба произвела свое действие: судья был человек, как обыкновенно бывают все добрые люди, трусливого десятка. Он обратился к секретарю. Но секретарь пустил сквозь зубы густой «гм» и показал на лице своем ту равнодушную и дьявольски двусмысленную мину, которую принимает один только сатана, когда видит у ног своих прибегающую к нему жертву. Одно средство оставалось: примирить двух приятелей. Но как приступить к этому, когда все покушения были до того неуспешны? Однако ж еще решились попытаться; но Иван Иванович напрямик

объявил, что не хочет, и даже весьма рассердился. Иван Никифорович вместо ответа оборотился спиною назад и хоть бы слово сказал. Тогда процесс пошел с необыкновенною быстротою, которою обыкновенно так славятся судилища. Бумагу пометили, записали, выставили номер, вшили, расписались – всё в один и тот же день, и положили дело в шкаф, где оно лежало, лежало, лежало – год, другой, третий. Множество невест успело выйти замуж; в Миргороде пробили новую улицу; у судьи выпал один коренной зуб и два боковых; у Ивана Ивановича бегало по двору больше ребятишек, нежели прежде: откуда они взялись, Бог один знает! Иван Никифорович, в упрек Ивану Ивановичу, выстроил новый гусиный хлев, хотя немного подалше прежнего, и совершенно застроился от Ивана Ивановича, так что сии достойные люди никогда почти не видали в лицо друг друга, – и дело все лежало, в самом лучшем порядке, в шкафу, который сделался мраморным от чернильных пятен.

Между тем произошел чрезвычайно важный случай для всего Миргорода.

Городничий давал ассамблею[200]! Где возьму я кистей и красок, чтобы изобразить разнообразие съезда и великолепное пиршество? Возьмите часы, откройте их и посмотрите, что там делается! Не правда ли, чепуха страшная? Представьте же теперь себе, что почти столько же, если не больше, колес стояло среди двора городничего. Каких бричек и повозок там не было! Одна – зад широкий, а перед узенький; другая – зад узенький, а перед широкий. Одна была и бричка и повозка вместе; другая ни бричка, ни повозка; иная была похожа на огромную копну сена или на толстую купчиху; другая на растрепанного жидка или на скелет, еще не совсем освободившийся от кожи; иная была в профиле совершенная трубка с чубуком; другая была ни на что не похожа, представляя какое-то странное существо, совершенно безобразное и чрезвычайно фантастическое. Из среды этого хаоса колес и козел возвышалось подобие кареты с комнатным окном, перекрещенным толстым переплетом. Кучера, в серых чекменях[201], свитках и серяках[202], в бараньих шапках и разнокалиберных фуражках, с труб-

ками в руках, проводили по двору распряженных лошадей. Что за ассамблею дал городничий! Позвольте, я перечту всех, которые были там: Тарас Тарасович, Евпл Акинфович, Евтихий Евтихиевич, Иван Иванович – не тот Иван Иванович, а другой, Савва Гаврилович, наш Иван Иванович, Елевферий Елевфериевич, Макар Назарьевич, Фома Григорьевич... Не могу далее! не в силах! Рука устает писать! А сколько было дам! смуглых и белолицых, длинных и коротеньких, толстых, как Иван Никифорович, и таких тонких, что, казалось, каждую можно было упрятать в шпажные ножны городничего. Сколько чепцов! сколько платьев! красных, желтых, кофейных, зеленых, синих, новых, перелицованных, перекроенных; платков, лент, ридикулей[203]! Прощайте, бедные глаза! вы никуда не будете годиться после этого спектакля. А какой длинный стол был вытянут! А как разговорилось все, какой шум подняли! Куда против этого мельница со всеми своими жерновами, колесами, шестерней, ступами[204]! Не могу вам сказать наверно, о чем они говорили, но должно думать, что о многих приятных и по-

лезных вещах, как-то: о погоде, о собаках, о пшенице, о чепчиках, о жеребцах. Наконец Иван Иванович – не тот Иван Иванович, а другой, у которого один глаз крив, – сказал:

– Мне очень странно, что правый глаз мой (кривой Иван Иванович всегда говорил о себе иронически) не видит Ивана Никифоровича господина Довгочхуна.

– Не хотел прийти! – сказал городничий.

– Как так?

– Вот уже, слава Богу, есть два года, как поспорились они между собою, то есть Иван Иванович с Иваном Никифоровичем; и где один, туда другой ни за что не пойдет!

– Что вы говорите! – При этом кривой Иван Иванович поднял глаза вверх и сложил руки вместе. – Что ж теперь, если уже люди с добрыми глазами не живут в мире, где же жить мне в ладу с кривым моим оком!

На эти слова все засмеялись во весь рот. Все очень любили кривого Ивана Ивановича за то, что он отпускал шутки совершенно во вкусе нынешнем. Сам высокий, худощавый человек, в байковом сюртуке[205], с пластырем на носу, который до того сидел в углу и

ни разу не переменял движения на своем лице, даже когда залетела к нему в нос муха, – этот самый господин встал с своего места и подвинулся ближе к толпе, обступившей кривого Ивана Ивановича.

– Послушайте! – сказал кривой Иван Иванович, когда увидел, что его окружило порядочное общество. – Послушайте! Вместо того что вы теперь заглядываетесь на мое кривое око, давайте вместо этого помирим двух наших приятелей! Теперь Иван Иванович разговаривает с бабами и девчатами, – пошлем потихоньку за Иваном Никифоровичем, да и столкнем их вместе.

Все единодушно приняли предложение Ивана Ивановича и положили немедленно послать к Ивану Никифоровичу на дом – просить его во что бы ни стало приехать к городничему на обед. Но важный вопрос – на кого возложить это важное поручение? – повергнул всех в недоумение. Долго спорили, кто способнее и искуснее в дипломатической части: наконец единодушно решили возложить все это на Антона Прокофьевича Голопузя [206].

Но прежде нужно несколько познакомить читателя с этим замечательным лицом. Антон Прокофьевич был совершенно добродетельный человек во всем значении этого слова: даст ли ему кто из почетных людей в Миргороде платок на шею или исподнее – он благодарит; щелкнет ли его кто слегка в нос, он и тогда благодарит. Если у него спрашивали: «Отчего это у вас, Антон Прокофьевич, сюртук коричневый, а рукава голубые?» – то он обыкновенно всегда отвечал: «А у вас и такого нет! Подождите, обносится, весь будет одинаковый!» И точно: голубое сукно от действия солнца начало обращаться в коричневое и теперь совершенно подходит под цвет сюртука! Но вот что странно: что Антон Прокофьевич имеет обыкновение суконное платье носить летом, а нанковое зимою. Антон Прокофьевич не имеет своего дома. У него был прежде, на конце города, но он его продал и на вырученные деньги купил тройку гнедых лошадей и небольшую бричку, в которой разъезжал гостить по помещикам. Но так как с ними много было хлопот и притом нужны были деньги на овес, то Антон Прокофьевич их про-

менял на скрипку и дворовую девку, взявши придачи двадцатипятирублевую бумажку. Потом скрипку Антон Прокофьевич продал, а девку променял за кисет сафьянный[207] с золотом. И теперь у него кисет такой, какого ни у кого нет. За это наслаждение он уже не может разъезжать по деревням, а должен оставаться в городе и ночевать в разных домах, особенно тех дворян, которые находили удовольствие щелкать его по носу. Антон Прокофьевич любит хорошо поесть, играет изрядно в «дураки» и «мельники»[208]. Повиноваться всегда было его стихиею, и потому он, взявши шапку и палку, немедленно отправился в путь. Но, идучи, стал рассуждать, каким образом ему подвигнуть Ивана Никифоровича прийти на ассамблею. Несколько крутой нрав сего, впрочем, достойного человека делал его предприятие почти невозможным. Да и как, в самом деле, ему решиться прийти, когда встать с постели уже ему стоило великого труда? Но положим, что он встанет, как ему прийти туда, где находится, – что, без сомнения, он знает, – непримиримый враг его? Чем более Антон Прокофьевич обдумывал, тем бо-

лее находил препятствий. День был душен; солнце жгло; пот лился с него градом. Антон Прокофьевич, несмотря, что его щелкали по носу, был довольно хитрый человек на многие дела, – в мене только был он не так счастлив, – он очень знал, когда нужно прикинуться дураком, и иногда умел найтиться в таких обстоятельствах и случаях, где редко умный бывает в состоянии извернуться. В то время как изобретательный ум его выдумывал средство, как убедить Ивана Никифоровича, и уже он храбро шел навстречу всего, одно неожиданное обстоятельство несколько смутило его. Не мешает при этом сообщить читателю, что у Антона Прокофьевича были, между прочим, одни панталоны такого странного свойства, что когда он надевал их, то всегда собаки кусали его за икры. Как на беду, в тот день он надел именно эти панталоны. И потому едва только он предался размышлениям, как страшный лай со всех сторон поразил слух его. Антон Прокофьевич поднял такой крик, – громче его никто не умел кричать, – что не только знакомая баба и обитатель неизмеримого сюртука выбежали к

нему навстречу, но даже мальчишки со двора Ивана Ивановича посыпались к нему, и хотя собаки только за одну ногу успели его уку- сить, однако ж это очень уменьшило его бод- рость и он с некоторого рода робостью под- ступал к крыльцу.

Глава VII, и последняя

— **А**! здравствуйте. На что вы собак драз- ните? — сказал Иван Никифорович, увидевши Антона Прокофьевича, потому что с Антоном Прокофьевичем никто иначе не го- ворил, как шутя.

— Чтоб они передохли все! Кто их драз- нит? — отвечал Антон Прокофьевич.

— Вы врете.

— Ей-богу, нет! Просил вас Петр Федорович на обед.

— Гм!

— Ей-богу! так убедительно просил, что вы- разить не можно. Что это, говорит, Иван Ни- кифорович чуждается меня, как неприятеля. Никогда не зайдет поговорить либо посидеть.

Иван Никифорович погладил свой подбо- родок.

– Если, говорит, Иван Никифорович и теперь не придет, то я не знаю, что подумать: верно, он имеет на меня какой умысел! Сделайте милость, Антон Прокофьевич, уговорите Ивана Никифоровича! Что ж, Иван Никифорович? пойдём! там собралась теперь отличная компания!

Иван Никифорович начал рассматривать петуха, который, стоя на крыльце, изо всей мочи драл горло.

– Если бы вы знали, Иван Никифорович, – продолжал усердный депутат, – какой осетрины, какой свежей икры прислали Петру Федоровичу!

При этом Иван Никифорович повернул свою голову и начал внимательно прислушиваться.

Это ободрило депутата.

– Пойдемте скорее, там и Фома Григорьевич! Что ж вы? – прибавил он, видя, что Иван Никифорович лежал все в одинаковом положении. – Что ж? идем или неидем?

– Не хочу.

Это «не хочу» поразило Антона Прокофьевича. Он уже думал, что убедительное пред-

ставление его совершенно склонило этого, впрочем, достойного человека, но вместо того услышал решительное «не хочу».

– Отчего же не хотите вы? – спросил он почти с досадою, которая показывалась у него чрезвычайно редко, даже тогда, когда клали ему на голову зажженную бумагу, чем особенно любили себя тешить судья и городничий.

Иван Никифорович понюхал табаку.

– Воля ваша, Иван Никифорович, я не знаю, что вас удерживает.

– Чего я пойду? – проговорил наконец Иван Никифорович, – там будет разбойник! – Так он называл обыкновенно Ивана Ивановича.

Боже праведный! А давно ли...

– Ей-богу, не будет! вот как Бог свят, что не будет! Чтоб меня на самом этом месте громом убило! – отвечал Антон Прокофьевич, который готов был божиться десять раз на один час. – Пойдемте же, Иван Никифорович!

– Да вы врете, Антон Прокофьевич, он там?

– Ей-богу, ей-богу, нет! Чтобы я не сошел с этого места, если он там! Да и сами посудите, с какой стати мне лгать? Чтоб мне руки и но-

ги отсохли!.. Что, и теперь не верите? Чтоб я околел тут же перед вами! чтоб ни отцу, ни матери моей, ни мне не видать Царствия Небесного! Еще не верите?

Иван Никифорович этими уверениями совершенно успокоился и велел своему камердинеру в безграничном сюртуке принести шаровары и нанковый казакин.

Я полагаю, что описывать, каким образом Иван Никифорович надевал шаровары, как ему намотали галстук и, наконец, надели казакин, который под левым рукавом лопнул, совершенно излишне. Довольно, что он во все это время сохранял приличное спокойствие и не отвечал ни слова на предложения Антона Прокофьевича – что-нибудь променять на его турецкий кисет.

Между тем собрание с нетерпением ожидало решительной минуты, когда явится Иван Никифорович и исполнится наконец всеобщее желание, чтобы сии достойные люди примирились между собою; многие были почти уверены, что не придет Иван Никифорович. Городничий даже бился об заклад с кривым Иваном Ивановичем, что не придет,

но разошелся только потому, что кривой Иван Иванович требовал, чтобы тот поставил в заклад подстреленную свою ногу, а он кривое око, – чем городничий очень обиделся, а компания потихоньку смеялась. Никто еще не садился за стол, хотя давно уже был второй час – время, в которое в Миргороде, даже в парадных случаях, давно уже обедают.

Едва только Антон Прокофьевич появился в дверях, как в то же мгновение был обступлен всеми. Антон Прокофьевич на все вопросы закричал одним решительным словом: «Не будет». Едва только он это произнес, и уже град выговоров, браней, а может быть, и щелчков, готовился посыпаться на его голову за неудачу посольства, как вдруг дверь отворилась и – вошел Иван Никифорович.

Если бы показался сам сатана или мертвец, то они бы не произвели такого изумления на все общество, в какое повергнул его неожиданный приход Ивана Никифоровича. А Антон Прокофьевич только заливался, ухватившись за бока, от радости, что так подшутил над всею компаниею.

Как бы то ни было, только это было почти

невероятно для всех, чтобы Иван Никифорович в такое короткое время мог одеться, как прилично дворянину. Ивана Ивановича в это время не было; он зачем-то вышел. Очнувшись от изумления, вся публика приняла участие в здоровье Ивана Никифоровича и изъявила удовольствие, что он раздался в толщину. Иван Никифорович целовался со всяким и говорил: «Очень одолжен».

Между тем запах борща понесся чрез комнату и пощекотал приятно ноздри проголодавшимся гостям. Все повалили в столовую. Вереница дам, говорливых и молчаливых, тощих и толстых, потянулась вперед, и длинный стол зарябел всеми цветами. Не стану описывать кушаньев, какие были за столом! Ничего не упомяну ни о мнишках в сметане, ни об утрибке[209], которую подавали к борщу, ни об индейке с сливами и изюмом, ни о том кушанье, которое очень походило видом на сапоги, намоченные в квасе, ни о том соусе, который есть лебединая песня старинного повара, — о том соусе, который подавался обхваченный весь винным пламенем, что очень забавляло и вместе пугало дам. Не ста-

ну говорить об этих кушаньях потому, что мне гораздо более нравится есть их, нежели распространяться об них в разговорах.

Ивану Ивановичу очень понравилась рыба, приготовленная с хреном. Он особенно занялся этим полезным и питательным упражнением. Выбирая самые тонкие рыбки косточки, он клал их на тарелку и как-то нечаянно взглянул насупротив: Творец Небесный, как это было странно! Против него сидел Иван Никифорович!

В одно и то же самое время взглянул и Иван Никифорович!.. Нет!.. не могу!.. Дайте мне другое перо! Перо мое вяло, мертво, с тонким расщепом для этой картины. Лица их с отразившимся изумлением сделались как бы окаменелыми. Каждый из них увидел лицо давно знакомое, к которому, казалось бы, невольно готов подойти, как к приятелю неожиданному, и поднести рожок с словом: «одолжайтесь», или: «смею ли просить об одолжении»; но вместе с этим то же самое лицо было страшно, как нехорошее предзнаменование! Пот катился градом у Ивана Ивановича и у Ивана Никифоровича.

Присутствующие, все, сколько их ни было за столом, онемели от внимания и не отрывали глаз от некогда бывших друзей. Дамы, которые до того времени были заняты довольно интересным разговором, о том, каким образом делаются каплуны[210], вдруг прервали разговор. Все стихло! Это была картина, достойная кисти великого художника!

Наконец Иван Иванович вынул носовой платок и начал сморкаться; а Иван Никифорович осмотрелся вокруг и остановил глаза на растворенной двери. Городничий тотчас заметил это движение и велел затворить дверь покрепче. Тогда каждый из друзей начал кушать и уже ни разу не взглянули друг на друга.

Как только кончился обед, оба прежние приятели схватились с мест и начали искать шапок, чтобы улизнуть. Тогда городничий мигнул, и Иван Иванович, – не тот Иван Иванович, а другой, что с кривым глазом, – стал за спиною Ивана Никифоровича, а городничий зашел за спину Ивана Ивановича, и оба начали подталкивать их сзади, чтобы спихнуть их вместе и не выпускать до тех пор, по-

ка не подадут рук. Иван Иванович, что с кривым глазом, натолкнул Ивана Никифоровича, хотя и несколько косо, однако ж довольно еще удачно и в то место, где стоял Иван Иванович; но городничий сделал дирекцию[211] слишком в сторону, потому что он никак не мог управиться с своевольною пехотою, не слушавшею на тот раз никакой команды и, как назло, закидывавшею чрезвычайно далеко и совершенно в противную сторону (что, может, происходило оттого, что за столом было чрезвычайно много разных наливок), так что Иван Иванович упал на даму в красном платье, которая из любопытства просунулась в самую средину. Такое предзнаменование не предвещало ничего доброго. Однако ж судья, чтоб поправить это дело, занял место городничего и, потянувши носом с верхней губы весь табак, отпихнул Ивана Ивановича в другую сторону. В Миргороде это обыкновенный способ примирения. Он несколько похож на игру в мячик. Как только судья пихнул Ивана Ивановича, Иван Иванович с кривым глазом уперся всею силою и пихнул Ивана Никифоровича, с которого пот валился, как дождевая

вода с крыши. Несмотря на то что оба приятеля весьма упирались, однако ж таки были столкнуты, потому что обе действовавшие стороны получили значительное подкрепление со стороны других гостей.

Тогда обступили их со всех сторон тесно и не выпускали до тех пор, пока они не решились подать друг другу руки.

– Бог с вами, Иван Никифорович и Иван Иванович! Скажите по совести, за что вы поспорились? не по пустякам ли? Не совестно ли вам перед людьми и перед Богом!

– Я не знаю, – сказал Иван Никифорович, пыхтя от усталости (заметно было, что он был весьма не прочь от примирения), – я не знаю, что я такое сделал Ивану Ивановичу; за что же он порубил мой хлев и замышлял погубить меня?

– Не повинен ни в каком злом умысле, – говорил Иван Иванович, не обращая глаз на Ивана Никифоровича. – Клянусь и пред Богом и пред вами, почтенное дворянство, я ничего не сделал моему врагу. За что же он меня поносит и наносит вред моему чину и званию?

– Какой же я вам, Иван Иванович, нанес



вред? – сказал Иван Никифорович.

Еще одна минута объяснения – и давнишняя вражда готова была погаснуть. Уже Иван Никифорович полез в карман, чтобы достать рожок и сказать: «Одолжайтесь».

– Разве это не вред, – отвечал Иван Иванович, не подымая глаз, – когда вы, милостивый государь, оскорбили мой чин и фамилию таким словом, которое неприлично здесь сказать?

– Позвольте вам сказать по-дружески, Иван Иванович! (при этом Иван Никифорович дотронулся пальцем до пуговицы Ивана Ивановича, что означало совершенное его

расположение), – вы обиделись за черт знает что такое: за то, что я вас назвал *гусаком*...

Иван Никифорович спохватился, что сделал неосторожность, произнесши это слово; но уже было поздно: слово было произнесено.

Все пошло к черту!

Когда при произнесении этого слова без свидетелей Иван Иванович вышел из себя и пришел в такой гнев, в каком не дай Бог видывать человека, – что ж теперь, посудите, любезные читатели, что теперь, когда это убийственное слово произнесено было в собрании, в котором находилось множество дам, перед которыми Иван Иванович любил быть особенно приличным? Поступи Иван Никифорович не таким образом, скажи он *птица*, а не *гусак*, еще бы можно было поправить.

Но – все кончено!

Он бросил на Ивана Никифоровича взгляд – и какой взгляд! Если бы этому взгляду придана была власть исполнительная, то он обратил бы в прах Ивана Никифоровича. Гости поняли этот взгляд и поспешили сами разлучить их. И этот человек, образец крото-

сти, который ни одну нищую не пропускал, чтоб не расспросить ее, выбежал в ужасном бешенстве. Такие сильные бури производят страсти!

Целый месяц ничего не было слышно об Иване Ивановиче. Он заперся в своем доме. Заветный сундук был отперт, из сундука были вынуты – что же? карбованцы[212]! старые, дедовские, карбованцы! И эти карбованцы перешли в запачканные руки чернильных дельцов. Дело было перенесено в палату. И когда получил Иван Иванович радостное известие, что завтра решится оно, тогда только выглянул на свет и решился выйти из дому. Увы! с того времени палата извещала ежедневно, что дело кончится завтра, в продолжение десяти лет!

* * *

Назад тому лет пять я проезжал чрез город Миргород. Я ехал в дурное время. Тогда стояла осень с своею грустно-сырою погодою, грязью и туманом. Какая-то ненатуральная зелень – творение скучных, непрерывных дождей – покрывала жидкою сетью поля и нивы, к которым она так пристала, как шалости стари-

ку, розы – старухе. На меня тогда сильное влияние производила погода: я скучал, когда она была скучна. Но, несмотря на то, когда я стал подъезжать к Миргороду, то почувствовал, что у меня сердце бьется сильно. Боже, сколько воспоминаний! я двенадцать лет не видал Миргорода. Здесь жили тогда в трогательной дружбе два единственные человека, два единственные друга. А сколько вымерло знаменитых людей! Судья Демьян Демьянович уже тогда был покойником; Иван Иванович, что с кривым глазом, тоже приказал долго жить. Я въехал в главную улицу; везде стояли шести с привязанным вверху пучком соломы: производилась какая-то новая планировка! Несколько изб было снесено. Остатки заборов и плетней торчали уныло.

День был тогда праздничный; я приказал рогоженную кибитку свою остановить перед церковью и вошел так тихо, что никто не обратил на меня внимания. Правда, и некому было. Церковь была пуста. Народу почти никого. Видно было, что и самые богомольные побоялись грязи. Свечи при пасмурном, лучше сказать – больном дне, как-то были странно неприятны;

темные притворы были печальны; продолговатые окна с круглыми стеклами обливались дождливыми слезами. Я отошел в притвор и оборотился к одному почтенному старику с поседевшими волосами:

– Позвольте узнать, жив ли Иван Никифорович?

В это время лампада вспыхнула живее перед иконою, и свет прямо ударился в лицо моего соседа. Как же я удивился, когда, рассматривая, увидел черты знакомые! Это был сам Иван Никифорович! Но как изменился!

– Здоровы ли вы, Иван Никифорович? Как же вы постарели!

– Да, постарел. Я сегодня из Полтавы, – отвечал Иван Никифорович.

– Что вы говорите! вы ездили в Полтаву в такую дурную погоду?

– Что ж делать! тяжба...

При этом я невольно вздохнул. Иван Никифорович заметил этот вздох и сказал:

– Не беспокойтесь, я имею верное известие, что дело решится на следующей неделе, и в мою пользу.

Я пожал плечами и пошел узнать что-ни-

будь об Иване Ивановиче.

– Иван Иванович здесь, – сказал мне кто-то, – он на крылосе.

Я увидел тогда тощую фигуру. Это ли Иван Иванович? Лицо было покрыто морщинами, волосы были совершенно белые; но бекеша была все та же. После первых приветствий Иван Иванович, обратившись ко мне с веселою улыбкою, которая так всегда шла к его воронкообразному лицу, сказал:

– Уведомить ли вас о приятной новости?

– О какой новости? – спросил я.

– Завтра непременно решится мое дело.

Палата сказала наверное.

Я вздохнул еще глубже и поскорее поспешил проститься, потому что я ехал по весьма важному делу, и сел в кибитку. Тощие лошади, известные в Миргороде под именем курьерских, потянулись, производя копытами своими, погружавшимися в серую массу грязи, неприятный для слуха звук. Дождь лил ливня на жида, сидевшего на козлах и накрывшегося рогожкой. Сырость меня проняла насквозь. Печальная застава с будкою, в которой инвалид чинил серые доспехи свои,

медленно пронеслась мимо. Опять то же поле, местами изрытое, черное, местами зеленее, мокрые галки и вороны, однообразный дождь, слезливое без просвету небо. – Скучно на этом свете, господа!

Примечания

Буколическая жизнь – идиллическая, мирная, простая жизнь на лоне природы (по названию цикла стихотворений римского поэта Вергилия «Буколики»).

[^^^]

2

Филемон и Бавкида – супруги, дожившие до глубокой старости, которым боги в награду за их взаимную любовь и гостеприимство даровали одновременную смерть, превратив их в два сросшихся дерева (*гр. миф.*).

[^^^]

3

Пульхерия (от лат. *pulchra* – прекрасная) – героиня носит имя благоверной царицы греческой Пульхерии (399–453; память совершается 10 сентября по ст. ст.), о которой Гоголь упоминает в одной из университетских лекций по истории Средних веков (датируются 1834 г.).

[^^^]

Впервые напечатано в сборнике «Миргород» (Спб., 1835. Ч. 1). Замысел повести и начало работы над ней обычно приурочивают к концу 1832 г., а описание поместья старосветских помещиков связывают с родовым имением Гоголя – Васильевкой, где он провел лето этого года. Среди возможных прототипов героев повести – дед и бабка писателя, Афанасий Демьянович и Татьяна Семеновна Гоголь-Яновские. Известно также, что в эпизоде с исчезновением и возвращением кошечки, так поразившей воображение Пульхерии Ивановны, Гоголь использовал рассказ, слышанный им от артиста М. С. Щепкина. Прочитав повесть, Щепкин сказал автору: «А кошка-то моя!» – «Зато коты мои!» – отвечал Гоголь (Афанасьев А. Н. М. С. Щепкин и его записки // Библиотека для чтения. 1864. № 2. Отд. XI. С. 8). Исследователями отмечалось, что в работе над повестью Гоголь испытал влияние карамзинской сентиментально-идиллической традиции, подтверждение чему обычно усматривают в письме Гоголя к старому другу Н. М.

Карамзина И. И. Дмитриеву (от июля 1832 г. из Васильевки): «Теперь я живу в деревне, совершенно такой, какая описана незабвенным Карамзиным. Мне кажется, что он копировал малороссийскую деревню: так краски его яркие и сходны с здешней природой». А. С. Пушкин охарактеризовал «Старосветских помещиков» как «шутливую, трогательную идиллию, которая заставляет вас смеяться сквозь слезы грусти и умиления» (Пушкин А. С. Собр. соч.: В 10 т. Т. 6. М., 1976. С. 97).

[^^^]

5

...яхонтовым морем слив... – Яхонт – старинное название драгоценных камней – рубина (камня красного цвета) и сапфира (камня синего цвета).

[^^^]

6

Флегматический (флегматичный) – невозмущимо-спокойный, вялый.

[^^^]

7

Камлот – старинная шерстяная ткань.

[^^^]

8

Дегтярь – тот, кто вырабатывает деготь или торгует им.

[^^^]

Палата – название многих административных учреждений; существовали палаты казенная (ведомства министерства финансов), гражданская (высшее в губернии судебное учреждение) и др.

[^^^]

10

Ябедник – клеветник, сутяга (ябеда – клевета, напраслина, донос).

[^^^]

Компанейцы – полки легкой кавалерии в украинском войске, формировавшиеся из добровольцев. В 1776 г. были преобразованы в регулярные части.

[^^^]

Секунд-майор (secundus – второй, второстепенный; лат.) – младший офицерский чин в русской армии с начала XVIII в., следовавший за чином капитана. Упразднен в 1797 г.

[^^^]

Камзол – старинная короткая мужская одежда без рукавов, род жилета.

[^^^]

...увез довольно ловко Пульхерию Ивановну... –
Таким же образом, по семейному преданию, дед Гоголя, Афанасий Демьянович Гоголь-Яновский, увез из родительского дома свою будущую жену Татьяну Семеновну Лизогуб.

[^^^]

...печатку ваших часов. – Имеются в виду небольшие печати, на которых вырезывались дворянские гербы их владельцев, символические знаки, инициалы и проч.; носились как брелоки на часовой цепочке.

[^^^]

Архиерей (в пер. с гр. – первосвященник) – общее название высших церковных иерархов (епископов, архиепископов, митрополитов).

[^^^]

Петр III Федорович (1728–1762) – российский император с 1761 г., внук Петра I. Убит в результате дворцового переворота, организованного его женой, Екатериной II.

[^^^]

Герцогиня Лавальер Луиза Франсуаза
(1644–1710) – фаворитка французского короля
Людовика XIV.

[^^^]

...девушками в полосатых исподницах... – Исподница – юбка (словарь «малороссийских слов, встречающихся в первом и втором томах» Собрания сочинений Гоголя 1842 г.).

[^^^]

Лембик (алембик) – сосуд для перегонки и очистки водки.

[^^^]

Войт – сельский выборный, староста.

[^^^]

Милиция – здесь: ополчение, сформированное в русской армии в период кампании против Наполеона в 1805–1807 гг., но вскоре распущенное.

[^^^]

Ничипор – Никифор.

[^^^]

...шпанских вишен и больших зимних дуль – сорта вишни и груши (poire Duchesse – груши дюшес; фр.).

[^^^]

Шинок – питейный дом, кабак.

[^^^]

Ночевки – здесь: деревянные корытца вроде лотка. *Узвар* – род компота из сушеных плодов.

[^^^]

Тендитный – слабосильный, нежный (словарь «малороссийских слов...»).

[^^^]

...выпустить опять на Россию Бонапарта... –
Возможно, что данные разговоры были вызваны слухами о побеге Наполеона с острова Эльба и его вторичном правлении во Франции (20 марта – 22 июня 1815 г.).

[^^^]

Пистолы – пистолеты.

[^^^]

Деревий (деревей) – растение из рода тысяче-
листика.

[^^^]

Гугля – шишка.

[^^^]

Чебрец (чабрец) – трава, употребляемая в качестве пряности.

[^^^]

Волошские орехи – грецкие орехи.

[^^^]

Травянки – грибы.

[^^^]

Нечуй-витер – трава, которую дают свиньям для жиру (словарь «малороссийских слов...»).

[^^^]

Урда (вурда) – выжимки из семян конопли или зерна мака, приготовленные для начинки вареников или пирогов.

[^^^]

Фаворитка (favorite – благосклонность; фр.) – любимица.

[^^^]

Декокт (декокт) – густой отвар из лечебных трав.

[^^^]

Дьячок – причетник, церковный чтец, псаломщик.

[^^^]

Пономарь – прислужник в церкви, который должен был следить за чистотою храма и звоном в колокола; во время богослужения принимал участие в чтении и пении.

[^^^]

Растроцило – раздробило.

[^^^]

Петит-уверт (petite ouvert; фр.) – буквально: «Маленькая открывает!» (термин карточной игры).

[^^^]

Марки – здесь: бирки, жетоны, заменяющие деньги во время игры.

[^^^]

Мнишки – кушанье из муки с творогом (словарь «малороссийских слов...»), сырники.

[^^^]

Поручик – младший офицерский чин в русской армии с XVIII в., выше подпоручика и ниже штабс-капитана.

[^^^]

Заседатель – здесь: выборный представитель от дворян, член земского (уездного) суда.

[^^^]

Штабс-капитан – офицерский чин в русской армии (в пехоте, артиллерии и инженерных войсках), выше поручика и ниже капитана. Введен в 1801 г.

[^^^]

Кремешок. – Кремень – твердый камень, употребляемый для высекания огня.

[^^^]

Вий – есть колоссальное создание простонародного воображения. Таким именем называется у малороссиян начальник гномов, у которого веки на глазах идут до самой земли. Вся эта повесть есть народное предание. Я не хотел ни в чем изменить его и рассказываю почти в такой же простоте, как слышал.

[^^^]

Впервые опубликовано в сборнике «Миргород» (Спб., 1835. Ч. 2). Начало работы над повестью относится ко второй половине 1834 г. В 1842 г. при подготовке Собрания сочинений Гоголь значительно переработал произведение, в частности, переделал его конец. Более полувека назад был обнаружен уникальный экземпляр «Миргорода», в котором отсутствует окончание повести (разговор богослова Халявы с философом Горобцом об участии Хомя Брута), а в следующей «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» имеется предисловие, отсутствующее в других экземплярах книги (см. коммент. к этой повести).

Вопрос о фольклорном источнике, на который со всей определенностью указывает Гоголь в примечании к повести, до сих пор остается открытым. Несмотря на усилия ученых, «народное предание», которое автор «почти в такой же простоте, как слышал», пересказал в своем произведении, не обнаружено. Не найдены и фольклорные тексты с образом, кото-

рый соответствовал бы гоголевскому Вию (вій – веко; укр.). В украинских народных сказках его замещает «старшая киевская ведьма». Все это, впрочем, никак не ставит под сомнение фольклорную основу гоголевской повести. Писатель использовал сюжет народной сказки о парубке, проведеншем три ночи около гроба умершей ведьмы.

В изображении бурсацкого быта в качестве предшественника Гоголя часто называют его земляка В. Т. Нарезного, автора «малороссийской повести» «Бурсак» (М., 1824). Вместе с тем многие эпизоды в «Вии» навеяны Гоголю воспоминаниями о годах учебы в Нежинской гимназии высших наук, образование в которой напоминало семинарское. В частности, прямые переключки с порядками гимназии можно обнаружить в описании трех классов бursы – «грамматиков», «риторов» и «богословов»; в упоминании о применении телесных наказаний, назначении из числа учащихся старших – «аудиторов»; в изображении сходных игр учеников и др. В стихотворении, написанном в 1836 г. совместно со школьным товарищем А. С. Данилев-

ским, Гоголь в шутку называл Нежинскую гимназию «бурсой»: «Да здравствует нежинская бурса...»

[^^^]

Братский монастырь – Киево-Братский монастырь, основан в 1588 г. при Богоявленской церкви на Подоле; в 1615 г. перешел в веденье Киевского братства (отсюда и название). В XVII в. монастырь был одним из центров борьбы за Православие против католицизма и унии. В 1615 г. при нем была открыта Киевская братская школа (в 1701–1817 гг. – Киевская академия).

[^^^]

Грамматики, риторы, философы и богословы
... – ученики разных (от низших к высшему)
классов академии, называвшиеся так по ос-
новным учебным дисциплинам. В граммати-
ческом классе преподавалась греческая и ла-
тинская грамматика, античная литература;
в риторическом – теория красноречия и т. д.

[^^^]

Пали – выражение из бурсацкого обихода: удар линейкой по рукам (паля – палка, линейка; укр.).

[^^^]

...какое-нибудь украшение в виде риторического тропа... – Риторический троп – здесь: особый оборот речи, применяемый для усиления экспрессивности высказывания.

[^^^]

Маковник – лепешка с маком.

[^^^]

Вертычка – фигурная выпечка из теста.

[^^^]

Буханец – небольшой белый хлеб (словарь «малороссийских слов...»).

[^^^]

Аудитор (аудитор) – здесь: старшеклассник, которому поручалась проверка знаний учеников младших классов.

[^^^]

...на бурсу и семинарию. – Бурсой Гоголь называет бедных учеников, живших в общежитии, семинарией – более состоятельных, живших на частных квартирах.

[^^^]

Канчук – нагайка (словарь «малороссийских слов...»).

[^^^]

Вертеп – кукольный театр (словарь «малороссийских слов...»). Вертепное представление, содержанием которого традиционно были события и обстоятельства Рождества Христова, разыгрывалось в переносном деревянном ящике – вертепе (получившем название от места рождения Спасителя – вертепа, то есть пещеры).

[^^^]

...разыгрывали комедию... – Комедия – здесь: драматическое представление, школьная драма на библейскую тему.

[^^^]

...представлявший Иродиаду... – Иродиада – жена царя Ирода Антипы, потребовавшая обезглавить пророка Иоанна Крестителя (Мф. 14, 3—11; Мк. 6, 17–28; Лк. 3, 19–20).

[^^^]

...или Пентефрию, супругу египетского царедворца. – Пентефрия – жена Потифара, начальника стражи египетского царя, пытавшаяся соблазнить юного Иосифа и затем оклеветавшая его (Быт. 39, 7—20).

[^^^]

Вечера – ужин (словарь «малороссийских слов...»).

[^^^]

Вакансии (вакации) – свободное от занятий время, предоставляемое учащимся для отдыха; каникулы.

[^^^]

Онучи – куски плотной материи, наматываемой на ноги при ношении лаптей или сапог.

[^^^]

Хутор – небольшая деревушка (словарь «ма-
лороссийских слов...»).

[^^^]

Кант – похвальное песнопение торжественного (светского или духовного) содержания.

[^^^]

Паляница – небольшой хлеб, несколько плоский (словарь «малороссийских слов...»).

[^^^]

Халява – голенище сапога.

[^^^]

Хома – Фома.

[^^^]

Брут Марк Юний (85–42 г. до н. э.) – римский государственный деятель, глава республиканского заговора.

[^^^]

Тиберий (Tiberius) (42 г. до н. э. – 37 г. н. э.) – римский император (с 14 г.), преемник Августа.

[^^^]

Горобець – воробей (укр.).

[^^^]

Люлька – трубка (словарь «малороссийских слов...»).

[^^^]

Тропак – украинский народный танец.

[^^^]

Оселедец – длинный клочок волос на голове, за-
матывающийся за ухо (словарь «малороссий-
ских слов...»).

[^^^]

Будяк – чертополох (словарь «малороссийских слов...»).

[^^^]

Жито – хлеб.

[^^^]

Огниво – металлическая пластина для высека-
ния огня ударом о кремень.

[^^^]

Тын – забор, частокол.

[^^^]

...установленный чумацкими возами... – Чумаки – обозники, едущие в Крым за солью и на Дон за рыбою (словарь «малороссийских слов...»).

[^^^]

Нагольный тулуп – сшитый кожей наружу и не покрытый тканью.

[^^^]

Комора – амбар (словарь «малороссийских слов...»), кладовая.

[^^^]

Галушки – клёцки (см. там же).

[^^^]

Книш – род печеного белого хлеба (словарь «малороссийских слов...»).

[^^^]

Очипок – род женской шапочки (см. там же),
головной убор замужней женщины.

[^^^]

Сотник – здесь: начальник сотни – территориально-войсковой единицы казаков.

[^^^]

Dominus – господин (*лат.*).

[^^^]

Явух – Евтихий.

[^^^]

Овин – двухъярусное строение для сушки снопов перед молотьюбой.

[^^^]

Свитка – род полукафтання (словарь «малороссийских слов...»).

[^^^]

Брика – тяжелая крытая повозка.

[^^^]

Оверко – Аверкий.

[^^^]

Талмуд – свод основных иудейских законов.

[^^^]

Спирид – Спиридон.

[^^^]

Дорош – Дорофей.

[^^^]

Резонер – человек, склонный к назиданиям.

[^^^]

Инде – кое-где.

[^^^]

Суля – большая бутылъ (словарь «малорос-
сийских слов...»).

[^^^]

...охотиться с тенетами... – Тенёта – сети для ловли птиц и зверей.

[^^^]

Крольшнеп (кроншнеп) – крупная болотная птица, род кулика.

[^^^]

Пенник – крепкая очищенная водка.

[^^^]

Добродию – сударь, милостивец (словарь «ма-
лороссийских слов...»), благодетель.

[^^^]

Цур им, чтобы не сказать непристойного. –
Цур им! – Да пропади они пропадом! (укр.)

[^^^]

...и пословица говорит: «Скачи, враже, як пан каже!» – В гоголевской «Книге всякой всячины» в разделе «Пословицы, поговорки и фразы малороссийские» отмечено: «Скачи, враже, як пан каже» (делай, что велят).

[^^^]

Страстной четверг – Великий или Страстной четверг на Страстной седмице (последней неделе перед Пасхой). В этот день православные христиане вспоминают о Тайной вечере, на которой была установлена Евхаристия (причастие).

[^^^]

Дьякон (диакон) – греческий служитель, помощник священника при богослужении и совершении таинств.

[^^^]

Китайка – простая хлопчатобумажная ткань синего, красного или зеленого цвета.

[^^^]

...свечи, увитые калиною... – Калина – символ
девственности.

[^^^]

Нагидочка – ноготок, растение (словарь «ма-
лороссийских слов...»).

[^^^]

Ясочка – светик мой (словарь «малороссийских слов...»), звездочка.

[^^^]

...дробные слезы... – Дробные (дрибные) – мелкие, частые (укр.).

[^^^]

Налой (аналой) – высокий, с покатым верхом столик, на который кладутся богослужebные книги и иконы.

[^^^]

...песню об угнетенном народе. – В прижизненных изданиях Гоголя было: «песню похоронную». Изменения по черновому автографу (без достаточных на то оснований) внесены в текст в 1940 г. редакторами академического издания.

[^^^]

Бонмотист – остряк (от *фр.* bon mot).

[^^^]

Спичка – здесь: остроконечная палочка.

[^^^]

Овчар – работник, ухаживающий за овцами.

[^^^]

Псалтырь (псалтирь) – книга псалмов, по которой в старину учили читать.

[^^^]

Ковтун. – Имя героя произведено от названия болезни волос, которые сваливаются в неразделимые космы (колтун, ковтун). Это слово встречается в выписке Гоголя из «Энеиды» И. П. Котляревского: «А голова вся в ковтунах...» («Книга всякой всячины»).

[^^^]

Сивуха – плохо очищенная водка. *Кварта* – старая русская мера жидкостей (около литра).

[^^^]

Шептун – знахарь.

[^^^]

Лишечко – беда (словарь «малороссийских слов...»).

[^^^]

Притвор – западная часть церкви у входа.
Крылос (клирос) – место для певчих в церкви по правую и левую сторону от амвона.

[^^^]

Плахта – нижняя одежда женщин из шерстяной клетчатой материи (словарь «малороссийских слов...»).

[^^^]

...играть... в крагли... – В гоголевской «Книге всякой всячины» имеется более подробное описание этой малороссийской игры: «...две стороны отходят на положенное пространство, ставят друг против друга по одному ряду кегель и поочередно сбивают палкою за положенную черту; чья сторона скорее выбьет, торжествует: каждый садится верхом на противнике своем и проезжает на нем до заветной черты».

[^^^]

Рожок – здесь: табакерка, сделанная из воловьего рога.

[^^^]

Запаска – род шерстяного передника у женщин (словарик «не всякому понятных» слов, приложенный Гоголем к первому изданию «Вечеров на хуторе близ Диканьки»).

[^^^]

Барвинок – растение (словарь «малороссийских слов...»), цветок; в украинском фольклоре традиционное название любимого человека.

[^^^]

Небоже – убогий, нищий; здесь: обычное обращение к младшему.

[^^^]

Хламида – плащ, длинная одежда.

[^^^]

Пфейфер (Pfeffer) – перец (нем.).

[^^^]

Кнур – боров (словарь «малороссийских слов...»), кабан.

[^^^]

Впервые напечатано в альманахе А. Ф. Смирдина «Новоселье» (Спб., 1834. Ч. 2) с подзаголовком «Одна из неизданных былей пасичника Рудого Панька» и с датой – 1831 г. Исследователи относят работу над повестью к 1833 г. В письме к М. А. Максимовичу от 9 ноября 1833 г. Гоголь сообщает, что его «старинная повесть» находится у Смирдина. При прохождении через цензуру рукопись подверглась сокращениям, о чем свидетельствует запись в дневнике цензора А. В. Никитенко от 14 апреля 1834 г.: «Был у Плетнева. Видел там

Гоголя: он сердит на меня за некоторые непропущенные места в его повести, печатаемой в «Новоселье» (Никитенко А. В. Дневник. М.; Л., 1955. Т. 1. С. 142). 2 декабря 1833 г. Гоголь читал повесть Пушкину и получил одобрительный отзыв: «...очень оригинально и очень смешно» (Пушкин А. С. Собр. соч.: В 10 т. Т. 7. С. 271).

В уникальном экземпляре «Миргорода» 1835 г. повести предшествовало следующее предисловие: «Долгом почитаю предуведо-

мить, что происшествие, описанное в этой повести, относится к очень давнему времени. Притом оно совершенная выдумка. Теперь Миргород совсем не то. Строения другие; лужа среди города давно уже высохла, и все сновники: судья, подсудок и городничий – люди почтенные и благонамеренные». Предисловие написано Гоголем для заполнения образовавшегося в наборе «пробела» и снято затем, чтобы использовать «лишний» лист для написания нового окончания к «Вию» (Гоголь Н. В. Собр. соч.: В 9 т. Т. 2. М., 1994. С. 485–486).

Материалом для сюжета повести послужили известные Гоголю факты сутяжничества среди малороссийских помещиков и отчасти семейные воспоминания. В этой связи можно указать на его письмо к матери от 30 апреля 1829 г.: «Свидетельствую мое почтение дедушке. Скажите, пожалуйста, что его тяжба? Имеет ли конец?» А. О. Смирнова, старая приятельница Гоголя, утверждала в своих воспоминаниях, что «ссора Ивана Никифоровича с соседом... взята с натуры» (Смирнова-Россет А. О. Дневник. Воспоминания. М., 1989. С. 71). Подобный бытовой, жизненный материал ши-

роко использован в романе В. Т. Нарезного «Два Ивана, или Страсть к тяжбам» (М., 1825), с которым нередко сопоставляют повесть Го- голя.

[^^^]

Бекеша – род кафтана на меху.

[^^^]

Смушки – мерлушки (словарь «малороссийских слов...»), сорт овчины с мелкими завитками, обычно черного цвета.

[^^^]

Гапка – Гапа, Агафия.

[^^^]

Очерет – тростник (словарь «малороссийских слов...»).

[^^^]

Комиссар – чиновник, ведавший полицией, сбором податей, поставкой рекрутов, путями сообщения и проч.

[^^^]

Хорол – уездный город Полтавской губернии.

[^^^]

Протопоп (протоиерей) – старший священник (главный среди священников данной церкви).

[^^^]

Колиберда (Келеберда) – городок на Днепре
Кременчугского уезда Полтавской губернии.

[^^^]

Небого – бедная (примеч. Гоголя в издании 1835 г.).

[^^^]

Ижица – название последней буквы (Ѹ) в старой русской азбуке.

[^^^]

Гербовые пуговицы – металлические пуговицы с изображением двуглавого орла – государственного герба Российской империи.

[^^^]

...казимировые панталоны... – Казимир – легкая полушерстяная ткань.

[^^^]

Бешмет – полукафтан, поддевка, носится под верхней одеждой.

[^^^]

Шпиц – острие.

[^^^]

Позумент – золотая или серебряная тесьма, окантовка.

[^^^]

...на царя Ирода... или на Антона, ведущего козу... – Речь идет о популярных персонажах вертепных представлений.

[^^^]

Чепрак (чапрак) – подстилка под конское седло.

[^^^]

...нанковые шаровары... – Нанка – плотная хлопчатобумажная ткань, обычно желтого цвета или полосатая (от названия города Нанкина в Китае, где изготовлялась эта ткань).

[^^^]

Горпина – Агриппина.

[^^^]

Канупер (калуфер) – трава (словарь «малороссийских слов...»).

[^^^]

То есть утки.

[^^^]

*Ваши волы пасутся на моей степи... – Степь –
здесь: пажить, пастбище.*

[^^^]

...и я ни разу не занимал их... – то есть не загонял к себе, чтобы потребовать штраф за поправку.

[^^^]

Саж – место, где откармливают скотину (словарь «малороссийских слов...»), хлев.

[^^^]

Писаная торба – мешок, сшитый из разноцветных лоскутов. Носиться с писаной торбой – заниматься пустяками.

[^^^]

То есть гусь-самец.

[^^^]

...как изображались римские трибуны. – Трибуны – выборные должностные лица в Древнем Риме.

[^^^]

...в штаметовой бекеше... – Штамет – плотная шерстяная материя.

[^^^]

Казакин – казачий полукафтан на крючках с мелкими сборками и стоячим воротником.

[^^^]

Саврасая – светло-гнедая с желтизною.

[^^^]

...книжку, печатанную у Любия Гария и Попова... – Речь, вероятно, идет о романе С. Ф. Жанлис «Герцогиня де ла Вальер», изданном в 1804–1805 гг. в Москве, «в Университетской типографии, у Любия, Гария и Попова». Портрет герцогини де ла Вальер, фаворитки французского короля Людовика XIV, висит в доме старосветских помещиков (см. коммент. к с. 21).

[^^^]

Бурак (буряк) – свекла (словарь «малороссийских слов...»).

[^^^]

Поветовый – уездный (см. там же), повет – уезд (см. там же). Уезд – административная и территориальная единица, на которые разделялись губернии. Уезды, в свою очередь, делились на волости.

[^^^]

Канцелярские – служащие в канцелярии суда.

[^^^]

Присутствие – присутственное место, казенное учреждение.

[^^^]

Зерцало – здесь: трехгранная призма с написанными на ней указами Петра I, устанавливавшаяся в присутственных местах как символ правосудия.

[^^^]

...кпы поветовой ябеды – кпы жалоб и прошений.

[^^^]

Присутствие началось еще с утра. – Присутствие – здесь: отправление служебных обязанностей.

[^^^]

Позов – тяжёлое прошение (словарь «малороссийских слов...»), жалоба.

[^^^]

Гербовый лист бумаги – бланк с государственным гербом для подачи просьб, совершения торговых сделок, договоров и т. п.

[^^^]

Довгочун – долго чихающий (укр.).

[^^^]

...в церкви Трех Святителей... – Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста, устранивших распрю о них среди православных христиан в Константинополе в XI в. (празднование собора Трех Святителей совершается 30 января по ст. ст.).

[^^^]

Семинария – среднее духовное учебное заведение. *Соха* – здесь: столб, подпора.

[^^^]

Каганец – светильник, состоящий из черепка, наполненного салом (словарь «малороссийских слов...»).

[^^^]

Протори (проторы) – издержки, расходы.

[^^^]

Сантуринское, никопольское – популярные сорта виноградных вин, называвшиеся так по основному месту производства (остров греческого архипелага Санторин, город на Днестре Никополь).

[^^^]

Подсудок – заседатель уездного суда (словарь «малороссийских слов...»), помощник судьи.

Бобон – опухоль, нарыв.

[^^^]

...в фризовой подобию полуфрака... – Фриза –
грубая ворсистая ткань типа байки.

[^^^]

Фельдъегерь – курьер, рассыльный, посыльный.

[^^^]

Тать – то же, что вор.

[^^^]

Егерская рота – отборная стрелковая рота.

[^^^]

Филипповка (Филиппов пост) – народное название Рождественского поста, который начинается после дня памяти св. апостола Филиппа (14 ноября по ст. ст.).

[^^^]

...добре барбарами шмаровать... – Шмаровать – смазывать; здесь: бить плетьюми (укр.). Выражение заимствовано Гоголем из подлинного документа 1720 г., составленного в миргородской ратуше войтом Закатыленком, городовым атаманом Кузубнею и другими по поводу распутного поведения некой Вацьки Куликивны: «...велели сию неверную Вацьку добре барбарами шмароваты...» (гоголевская «Книга всякой всячины»).

[^^^]

Орышко – Ирина.

[^^^]

Хавронья – свинья.

[^^^]

Трактовали – рассуждали, обсуждали.

[^^^]

Десятский – низший полицейский чин, набираемый из обывателей.

[^^^]

Квартальный надзиратель – полицейский чиновник, в ведении которого находился определенный квартал города.

[^^^]

Педант – здесь: человек, щеголяющий своей ученостью.

[^^^]

...кампании тысяча восемьсот седьмого года... – Сражения русской армии с французскими войсками в Восточной Пруссии, в результате которых с Наполеоном был заключен невыгодный для России Тильзитский мир.

[^^^]

Супоросная свинья – свинья, вынашивающая плод. *Скорописное письмо* (скоропись) – скорое, беглое письмо.

[^^^]

Сластены – пышки (словарь «малороссийских слов...»).

[^^^]

Понеже – потому что, так как.

[^^^]

*...в приточении ошельмовавшись состоялся –
то есть был причастен.*

[^^^]

Ассамблея – бал.

[^^^]

201

Чекмень – суконный полукафтан в талию со сборками сзади.

[^^^]

Серяк – простой кафтан из грубого серого сукна (сермяга).

[^^^]

Ридикуль (ридикюль) – ручная женская сумочка.

[^^^]

Ступа – здесь: долбленая мельничная колода, в которой перетиралось зерно с помощью обитых жестью пестов.

[^^^]

...в байковом сюртуке... – Байка – плотная ворсистая ткань.

[^^^]

Антон Прокофьевич Голопуз – Голопуз – неоперившийся птенец; бедняк, оборвыш (укр.). Ранее, в первой главе (с. 96), герой упомянут под фамилией Пупопуз.

[^^^]

...кисет сафьянный... – Сафьян – тонкая мягкая кожа высокого качества.

[^^^]

Мельники – карточная игра с взятками, которые снова разыгрываются.

[^^^]

Утрибка (отрибка) – кушанье из внутренностей (словарь «малороссийских слов...»); «печенка сеченая, набитая в толстую кишку и зажаренная, обыкновенно приготовленная к борщу» (гоголевский «Лексикон малороссийский»).

[^^^]

Каплун – холощенный петух, специально откормленный для жаркого.

[^^^]

...сделал дирекцию... – здесь: взял направление, повернул.

[^^^]

Карбованец – целковый (словарь «малороссийских слов...»), серебряная монета в один рубль.

[^^^]